



**В. КЛИПЕЛЬ**

# **ДЕБРИ**





В. И. К Л И П Е Л Ь

# ДЕБРИ

(ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИСКАТЕЛЕЙ ЖЕНЬШЕНЯ)



Хабаровское книжное издательство

1974

К 49  
ДВ Р2

© Хабаровское книжное издательство, 1974

7—6—3

## ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Предлагаемая повесть «Дебри» уже выходила в Хабаровском книжном издательстве, поэтому она не нова. Но я хотел бы обратить внимание на одно важное обстоятельство.

Дальний Восток широко описан в литературе разных жанров как край несметных богатств, бескрайней тайги, неисчислимого зверья, птиц, рыбы. Коли так, то чего тут особенно церемониться, — думают некоторые, — бери все, что попадет под руку, на всех хватит. Их потребительское отношение к природе осуждается и пресекается, но как заблуждаемся мы все, если считаем наш край бездонной кладовой.

Да, наш край богат и разнообразен. В нем соседствуют две флористические зоны. Одна — маньчжурская — зона кедровошироколиственных лесов, и другая — охотско-аянская, — где господствуют светло-хвойные лиственничные леса с примесью ели, пихты, березы, осины, где горные склоны густо заселены кедровым стлаником. И первая, и вторая зоны имеют неповторимый животный мир, редчайшие растения, многие из которых нигде больше в Советском Союзе не встречаются. Да, разнообразие животных, птиц, рыбы, растений очень велико, а вот количество их за последние годы значительно сократилось, и многие виды поставлены под защиту Закона.

С каждым годом в стране растет благосостояние трудящихся, у людей все больше становится свободного времени для разумного отдыха и человек идет в лес, в горы, к воде, чтобы не только взять дары природы, но и отдохнуть. Наши леса способны доставлять великое эстетическое наслаждение, воздействие их на человека огромно. Но их надо беречь.

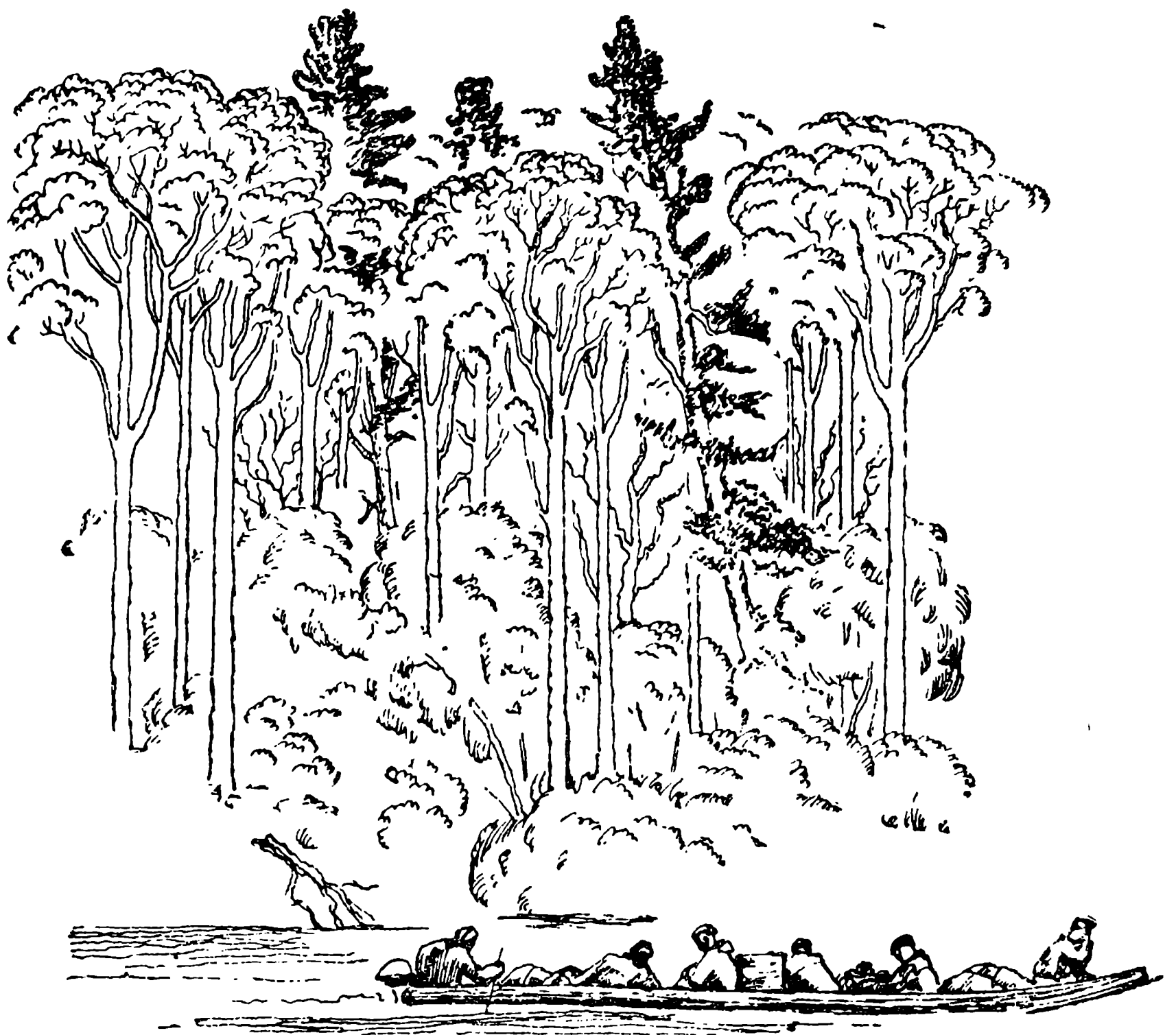
В леса идут промысловики, чтобы снять «урожай» пушниной, мясом, грибами, ягодами, корой бархата или лекарственными растениями, идут тысячи туристов, чтоб укрепить свое здоровье и набраться сил для активного труда, и сейчас очень важно, чтобы каждый бережно, хозяйски относился к окружающей природе. Совсем не

обязательно, чтобы каждый посадил в лесу дерево, ибо для этого у нас есть лесхозы, они призваны заниматься массовыми посадками. Но не делай природе зла, не ломай бездумно растительность, не испытывай меткость своего глаза по первой подвернувшейся живности, не оставляй в лесу огня. Всегда помни, что чей-то жадный выстрел может положить конец какому-то виду и после нас люди не услышат песни иволги, не увидят райской мухоловки, не насладятся зрелищем величавого тигра или снежного барана, и школьник конца двадцатого века, живущий на берегу Амура, будет недоуменно спрашивать учительницу: «А что такое ауха?» Помни, что вместе с последним животным или растением от человечества уйдут и не разгаданные до конца возможности, которые таят они в себе.

В нашей стране принят и действует мудрый Закон об охране природы, но никаким стражам порядка не предотвратить зла, если каждый из нас не проникнется духом уважения и любви к земле, на которой дано нам жить.

В этой повести ты прочитаешь о наших южных дебрях, я проведу тебя по лесам, полным тишины и прохлады, познакомлю с людьми, с которыми повстречался во время своих странствий по краю.

*Автор*



**Б**икином идет лодка. Путники выехали из поселка Красный Перевал утром, а сейчас время уже за полдень. Их разморило от зноя, от надоедливого, натужного гудения мотора. На ослепительно сверкающую воду больно смотреть.

Бикин за многие годы сумел пробить среди гор широкую долину, устелил свое русло выбеленным галечником и теперь струится ровно, спокойно, быстро. Кажется, не по воде, а по сбегаящей навстречу шелковистой ткани всплзает лодка от переката к перекату. Ткань переливается голубизной неба и оттенками причудливых кучевых облаков.

Старенький разболтанный моторчик изо всех сил рыхлит за кормой воду, но длинная, тяжело нагруженная плоскодонка еле-еле одолевает встречное течение, а временами, будто раздумывая, замирает на месте, и ее начинает относить от середины к берегу. Вблизи галечных отмелей течение послабее, и лодка снова ползет вперед.

На лодке — шестеро мужчин. Один — тот, что без рубахи, — сидит на носу, устало уткнув черноволосую голову в колени, и подставляет солнцу смуглую мускулистую спину; трое других беседуют вполголоса; пятый — пожилой, плотный, в солдатской гимнастерке, — накрыв лицо платком, спит, отвалившись на груды котомок, притороченных по-таежному к рогулькам.

Павел Тимофеевич — хозяин лодки — сидит за руль-мотором. Он щурит глаза и бесстрастно смотрит перед собой поверх сидящих, строго выдерживая направление, и время от времени тычет веслом в воду, промеривая глубину.

Клеенчатая шляпа-зюйдвестка, невесть как и кем занесенная на Бикин, затеняет его красное лицо все в мелких прожилках, частой сеткой проступивших поверх скул и щек. Глубокие морщины падают от крыльев утолщенного, словно бы ушибленного пониже переносицы, носа к складкам губ. Как ветви одного дерева, они соединяются с морщинами подбородка, щек и теряются на дряблой буро-красной шее. Из-под расстегнутого воротника синей сатиновой, в мелкий горошек, рубашки видна не знавшая загара грудь, неожиданно белая и по-женски нежная.

Все путники, за исключением Павла Тимофеевича, городские люди, выехавшие в тайгу на промысел. С двумя — тем, что жарит спину, и вторым — спящим — Павел Тимофеевич познакомился в прошлом году. В середине августа они появились в Красном Перевале.

Он встретил их возле магазина — как раз искал, у кого перехватить трешку на опохмелку, а тут — они. Всех поселковых он знал наперечет — как ни говори, живет на Бикине с тридцатых годов, — а эти какие-то незнакомые. Таежники, с поклажей. Откуда? Куда? Слово за слово — разговорились. Оказалось, пробираются с Хора, корневщики. Обшарили все сопки, оборвались,

съели весь припас, а ничего не нашли. Прошли по Матаю, Алчану — и впустую.

— Чего было туда ходить? — Будто не год назад, а вчера произошел разговор, так памятна для Павла Тимофеевича эта встреча. — На Хору никогда доброго корня не брали. Разве случаем мелочь...

— Ну как не брали, — возразил пожилой корневщик со скуластым замкнутым лицом, — когда я сам задиры встречал.

— Задиры... Мало ли чего! Они еще китайцами наделаны, лет пятьдесят назад. С тех пор тайга — ого! — куда отступила.

— Раньше был корень, почему сейчас не может быть? О других местах не могу сказать, а по Хору не первый год лазаю.

— Корнюешь?

— Так, при случае. Я в основном охотник, — нехотя отозвался корневщик.

По всему видать, ему уже в зубах навяз этот разговор.

Тут из магазина появился его спутник с «белоголовой» в руках.

— Подсаживайся, — хмуро бросил корневщик Павлу Тимофеевичу, — составь компанию.

Они собирались распить поллитровку возле магазина. Тот, что помоложе, начал было развязывать свою котомку.

— Ради чего здесь-то? Ни присесть, ни закусить. Не дай бог, еще участковый заявится. У нас насчет этого строго! — и Павел Тимофеевич повел их к себе. — У меня там и огурчики, то-се да и отдохнуть где найдется...

В избе, за столом, познакомились. О старшем корневщике — Федоре Михайловиче — он слышал не раз, а вот в лицо не знал. Нашлись и общие знакомые: деверь Павла Тимофеевича на Немпте зимовье держал, а Федор Михайлович, оказывается, нередко у него останавливался и даже выпивали вместе не раз. Младший — Володька, как понял Павел Тимофеевич, — ни в корневке, ни в охоте своего голоса не имел и ходил со старшим ради компании.

Федор Михайлович сокрушенно вздыхал: жаль потерянного времени! Павел Тимофеевич понимающе кивал,

сочувствовал: «Бывает... Раз на раз не приходится...» Он с первых же слов понял, что его собеседник нрава спокойного, но крутого, дело знает и попусту бродить не привык. Шел на верное дело, а вот не выгорело.

— Так куда же вы теперь? — поинтересовался он.

— Куда? Известно. Дождемся первого катера — тут леспромхозовские самоходки грузы таскают — да и на Бурлиг.

— Да, неладно получилось, — посочувствовал Павел Тимофеевич. — А можно было бы кое-что сообразить...

Федор Михайлович понимающе глянул и приказал:

— Ну-ка, Володька, дуй за второй! — и кивнул на порожнюю поллитровку.

Когда они остались вдвоем, Павел Тимофеевич вполголоса заговорил:

— С отъездом советую повременить. Двадцать ден потеряли, рискните еще неделкой, — он придвинулся вплотную, словно кто мог подслушать его тайну.

Так уж получилось, что берег Павел Тимофеевич много лет приметное место, все собирался попользоваться корешками сам, а подвернулась компания, не утерпел — высказал. Это не просто — объявить, что знаешь в тайге место, где есть затески, это все равно, что сказать, где у тебя зарыт кошелек с кругленькой суммой, потому что корень женьшеня ценится вдвое, втрое дороже золота. Он, конечно, понимал, сколь великодушно поступает, открывая незнакомым людям свое заветное место, понимал это и Федор Михайлович. Но Павел Тимофеевич не сожалел: промысловик — свой брат, это не какие-нибудь хапуги. Человеку, которого промысел кормит и поит, проходить месяц впустую — не шутка. Не один живет — за спиной семья, ее без куска хлеба не оставишь. А что такое забота о хлебе насущном, ему ли не знать?

Вместо недели они проходили все полторы, нашли двадцать три корня. При дележе на брата пришлось по четыреста тридцать граммов. Не худо. Поискать бы как следует, может, и еще бы взяли, да время поджимало, а тут еще задождило. Договорились так: на следующее лето, пока никто не пронюхал, «обломать» еще раз эту сопочку, потому что искали «ходом», и корень наверняка остался. Не исключено, что пустятся в рост и «спящие». Такое случается.

Ждал Павел Тимофеевич двоих, а приехало пятеро. Хотя уговору принимать в компанию еще кого-то не было, он не стал возражать: пусть едут, тайга велика, не на одной сопке корень растет. Всем хватит.

Еще неделю назад Иван не знал своих компаньонов, не думал, что попадет на Бикин. Хотя и мечтал попытаться счастья в корневке — этом загадочном промысле, но поездка, сборы — все свалилось неожиданно, в каком-то невероятно быстром темпе.

Жарким июльским днем он шел по городу в сторону парка, чтобы повидаться с приятелем.

От размягченного асфальта несло зноем, запахами сгоревшего бензина, масел, гудрона. В застойной духоте большого города трудно было дышать. Тучная, поблескивающая листва тополей, густо облепленная пухом, тяжело обвисала с неподвижных ветвей. Струившийся от разогретой земли воздух еле-еле пошевеливал ее. Тополиный пух носился вокруг, вихрился за машинами, сбиваясь пластами у обочин, возле заборов, в каждой выбоине. Мальчишки, когда не видели поблизости взрослых, бросали зажженные спички и с удовольствием наблюдали, как веселое быстрое бездымное пламя пробежало над пластом пуха, оставляя после себя опаленные мелкие семечки.

Самое жаркое время — июль. Каждого манит прохлада Амура, на три километра в ширину раскинувшегося сразу за парком, в который упирается центральная улица города. Поток нарядно одетой публики жмет к затененной стороне, под развесистые ильмы. В такое бы время за реку, в лес, в горы... Но так может сказать человек, незнакомый с природой Дальнего Востока. Лишь служба да заработок принуждают горожанина отправиться в разгар лета в лес.

Иван встретил приятеля в условленном месте, и они неторопливо направились к парку.

— Когда же махнем за корнем? — спросил Иван.

— Сейчас не могу.

— Опять не могу! Сколько можно откладывать? — в возгласе Ивана досада, которой он и не скрывает.

— Что я могу поделывать: ремонт в разгаре, а я — директор — отправлюсь в тайгу. Так, по-твоему?

Нет, Иван не желал, чтобы директор — его спутник по странствиям — бросал свою работу на произвол судьбы. Но и без него он не мог.

— Третий год собираемся за женьшенем, а дело ни с места. Что было толковать?..

— погоди, не ершись! — Приятель примиряюще стиснул Ивана за плечи. Руки у него тяжелые, сильные, не так-то их и сбросишь, если не пожелает. — Я тут с одним товарищем говорил. Если уж тебе невтерпеж, сходи без меня.

— Кто же меня возьмет? Или вы сами не промысловик?

— Говорю — толковал! Я не раз ему одолжение делал, не откажет. Он охотник, тайгу знает, как мы свой город. Приведет, куда хочешь, и выведет. Корнует, правда, немного, но опыт есть. У него напарник, но это не беда. Поговоришь, может, в свою компанию возьмет, а нет, так с Мишей спаруешься, отдельно искать станете.

— А Миша разве идет?

— Да, он в отпуске, а кроме, как за женьшенем, сейчас идти в тайгу не за чем.

— А где мне этого вашего товарища найти?

— Давай так: я его приглашаю к себе в среду, хочу, чтобы он принес корень — два для музея. Деньги на это есть. Вот ты и зайди.

— Хотите развести плантацию?

— Не иронизируй. Вот скажи, разве плохо, если в музее будет цвести живой женьшень? В Хабаровск интуристы, делегации приезжают, а у нас в музее один завалящий корешок, подаренный пятьдесят лет назад покойным Арсеньевым. Стыд! В крае, где промышляют женьшень, негде посмотреть на живое экзотическое растение. И не только в иностранцах дело. А наши люди не хотят поглядеть? Скажи, плохо, если бы мы дали в наши институты, школы гербарии с этим растением? Короче — договорились: до среды.

Приятель обеими руками потряс руку Ивану. Лицо его лучилось в сердечной, доброй улыбке, глазки проглядывали хитрыми, острыми точками — зрачками в прищуре.

— А как твоя благоверная, отпускает? Не боится, что тебя укусит энцефалитный клещ или задерет медведь?

— Ерунда! — отмахнулся Иван. — Вы же сами знаете, что ни черта со мной не случится.

— Отчаянный ты человек.

— Бросьте! — Ивану неприятны были эти напоминания об осторожности. Сам не идет, а другого оберегает. Совсем недавно у Ивана с женой произошла размолвка из-за летней поездки, и упоминание приятеля о возможных с ее стороны возражениях было некстати. Он еще сам не решил, как быть: идти в тайгу с незнакомыми людьми или отложить поиски женьшеня еще на год.

— Во всяком случае поберечься не мешает, — сказал уже серьезно приятель. — Медведицы сейчас маленьких водят, на кого угодно кинуться могут. Ну и клещ. Опасности реальные. Привет супруге! — приподнял он шляпу и легко, пружинисто зашагал через площадь.

Постояв минуту, Иван рассеянно огляделся. Площадь, памятник героям гражданской войны, газоны перед ним, голуби, кормящиеся на площадке. Прекрасный вид, которым мог без конца восхищаться, на этот раз не нашел в его душе отклика. Другие навязчивые мысли занимали его: идти или не идти? И что делать, если жена и в самом деле воспротивится?

Сердито глядя себе под ноги, он зашагал к трамвайной остановке.

Пожалуй, ни одному из земных растений не сопутствует такая слава, как женьшеню. Столько написано о нем противоречивого, такими легендами окутана его чудодейственная сила, что ученым, видимо, придется еще немало поработать, прежде чем они отделят вымысел от истины о возможностях, заложенных природой в этом ценном лекарственном растении.

Медициной установлено, что препараты из корня женьшеня обладают стимулирующими и тонизирующими действиями, повышают сопротивляемость организма к различным заболеваниям в значительно большей степени, чем любые другие известные лекарства.

Сведения о нем дошли до нас с Востока, из глубокой, отдаленной тысячелетиями древности. У нас в России о женьшене узнали впервые в 1678 году от посла в Китае Спафария. Как и связки русских соболей, корни жень-

шения дарили там императорам и другим высокопоставленным вельможам в особо важных случаях.

Кого не интересуют строки из книги известного дальневосточного исследователя Владимира Клавдиевича Арсеньева об искателях — манзах и китайцах, — которым в его время в основном и принадлежал этот вид промысла в наших лесах:

«Ужасные голодовки, кровожадные звери и нечеловеческие лишения, которым неизбежно подвергается всякий женьшенщик за попытку бороться с природой там, где она положила свое вето, — все это как будто осталось позади. Но еще большая опасность ожидает его впереди.

Там, где долина суживается, чтобы только оставить проход горной речке, где-нибудь за камнями с винтовкой в руках караулит грабитель.

Искатель женьшеня знает это и торопится скорее пройти опасное место. Вот он почти прошел его, и вдруг небольшая струйка дыма мелькнула в кустах. Звук выстрела подхватило гулкое эхо...»

Вслед за добытками границу переходили грабители-хунхузы, чтобы перехватывать своих соотечественников на обратном пути. В этом смысле судьба корневищников была сходна с судьбой старателей-золотоискателей. За большими ценными корнями охотились, вокруг них разгорались низменные страсти и зачастую тянулась цепь гнусных преступлений. Но все это в прошлом. А сейчас?

Иван уже много лет как полюбил краеведение, и чем обширнее становились его знания о крае, о природе, тем больше открывалось непознанного. Взять тот же промысел женьшеня. Разве его представишь по запискам Байкова и Арсеньева? С тех пор минуло полстолетия. Нет в наших лесах корневищников-китайцев, с двадцатых годов этот промысел стал достоянием советских людей.

Что может получиться из поездки за женьшенем, Иван не представлял. Хорошо бы найти самому корень, но на крайний случай хоть познакомиться с промыслом, попробовать, пощупать, увидеть все собственными глазами.

Иван досадовал на приятеля: хитрец! Увильнул от похода, сослался на занятость. Если бы дело касалось

осенней зверовой охоты, тут бы его никаким ремонтом не удержать. Конечно, мало удовольствия идти в тайгу летом, томиться в духоте, пробираться через чащобу с тяжелым рюкзаком и ходить, ходить, искать непотерянное.

К тому же и опасности, на которые приятель указывал, существуют, они реальные. Особенно клещ. Иван не считал себя новичком: родился и вырос на Дальнем Востоке, много лет подряд проводит свое отпускное время на реках, путешествуя по краю. Конечно же, будет всего, а особенно допечет комар, гнус.

«Как нехорошо получается, — вздохнул он. — Идти с незнакомыми людьми...» Однако об отпуске заявлено, ничего другого не предвидится, а куда-то пойти, полмесяца — месяц отдохнуть в тайге душой нужно позарез.

В среду Иван отправился в музей. К десяти часам он был уже возле красного кирпичного здания старинной кладки, с большими сводчатыми окнами. Привычная, примелькавшаяся каменная черепаха — огромная глыба серого камня, памятник тринадцатого века — стояла на месте. Во дворе мальчишки поочередно шлифовали штанишками ствол крепостного орудия, съезжая по нему сверху вниз.

Дверь в кабинет была приоткрыта, оттуда доносился разговор. Иван вошел. По всему видно, что директор успел договориться с корневщиками, о чем нужно. Он поднялся и стал знакомить с находившимися у него людьми.

Первым он представил Ивана пожилому мужчине лет пятидесяти. Тот поднялся, назвал себя Федором Михайловичем. Загорелое, гладкое лицо его играло румянцем. Смуглый, черноволосый, он выглядел самым цветущим, хотя, как потом оказалось, был старше остальных. Растегнутый ворот шелковой сорочки в голубую клетку, с короткими, по локоть рукавами открывал крепкую красную шею, такую же загорелую грудь. Скуластое лицо, смуглость, разрез глаз, налет восточной бесстрастности выдавали в нем забайкальца или амурчанина, среди которых раньше были часты смешанные браки. На вопрос, не из амурских ли он старожилов, Федор Михайлович ответил:

— Из гуранов. Благовещенский.

Кличка «гураны» прочно прилипла к амурским казакам за их пристрастие к охоте на диких сибирских коз — гуранов, за то, что носили они козьи шапки и тулупы, длинные, до пят, теплые, хотя и непрочные: шерсть у козы толстая, густая, но ломкая.

Детские годы Ивана прошли в поселке, куда частенько наведывались жители приамурских станиц. Может, поэтому он и узнал в нем амурчанина.

Вторым директор представил Ивана Шмакову — офицеру в отставке, отрекомендовав его как таежника-любителя. Коренастый, с высокой грудью, Шмаков не сутулился, не опускал плеч. При этом в позе его не замечалось напряжения, что свидетельствовало о многолетней привычке держаться прямо. Составить о нем мнение с первого взгляда Иван затруднялся.

— Ну, а с эгим товарищем ты уже знаком, — сказал директор.

С третьим — Мишей — Иван познакомился месяц назад, в охотничьем заказнике, где тот служил старшим егерем. В пути Ивана прихватил радикулит: спускаясь по каменистой россыпи, оступился, — и Миша километра три нес его рюкзак. Иван был очень благодарен и до сих пор вспоминал об этом, с большой теплотой отзываясь всякий раз о егере. Три войны, в которых он участвовал, приучили его превыше всего ценить в человеке готовность прийти на выручку.

— Тоже решили попытать счастья? — спросил он Мишу, крепко пожимая ему руку.

— А что ж, — отвечал Миша, — мне бы только увидеть, каков он есть, а уж там я в лепешку разобьюсь, а найду.

Этому можно было поверить: поджарый, мускулистый, с веселыми озорными глазами, всегда деятельный, неутомимый, он в лесу чувствовал себя как дома. С таким и ходить приятно.

— Куда лучше всего идти? — громко обратился директор к собравшимся, раскладывая на столе карту Приморья.

Федор Михайлович тотчас погянулся к карте и стал водить по ней пальцем, отыскивая какие-то знакомые ему места.

— Лонись мы ходили по Канихезе, а вот где она гут

обозначена, убей. — не найду. Место там стоящее, обработать как следует не удалось. Прошли по «верхам». Туда и надо идти, — заявил он.

— А как ваше мнение, Виктор Васильевич? — спросил директор Шмакова.

«Оказывается, Шмаков не новичок в корневке», — отметил про себя Иван и взглянул на него повнимательней. В самом деле, если такой человек ходил в тайгу, можно смело сказать, что не из-за одного желания подзаработать.

— Я корневал только в южных районах Приморья. Там я найду, ручаюсь. Правда, крупного корня там почти нет. — выбрали, все больше мелочь...

— Нет, не годится, — решительно отверг это предложение Федор Михайлович. — Идти наугад — негоже. На Канихезе — верное дело.

Иван не вмешивался: куда поведут, туда и пойдет.

Федор Михайлович сидел с недовольным видом, будто сожалел, что дал директору слово, а теперь получалось, что связывался с большой компанией, которая для него только обуза, а выгоды никакой. Понимали это и остальные, поэтому никто не спорил: он ведет, он знает.

— Теперь срок, — продолжал директор. — Когда думаете выезжать?

— Двадцать восьмого июля надо быть на Бикине, — сказал Федор Михайлович. — Готовь каждый, что надо, ден на двадцать-тридцать. Сухари можно готовые взять, я нонче смотрел в магазине, хорошие сухари, хоть к чаю подавай...

Он первым поднялся и стал прощаться. Вышли все вместе, но на площади разделились: каждый пошел в особицу.

Сборы в дорогу — нелегкая задача. Взять хочется многое, но когда знаешь, что нести придется на собственной спине, поневоле приходится соразмерять поклажу со своими силами. Иван знал и другое: котомка, не очень тяжелая дома, зачастую становится непосильным грузом в пути, когда пробираешься по мари, по чащобам, когда устанешь.

Жена собирала его в дорогу не впервые, быстро выложила на стол все необходимое и отошла в сторонку. Все

это молчком, с таким видом, словно хотела сказать: я свое сделала, а там — как хочешь. Она была всегда противницей его летних поездок, а этой — в особенности: просила, отговаривала до тех пор, пока не поссорились.

Иван, обычно мягкий и податливый на уговоры, — он сам знал за собой такой грех, — когда дело касалось поездки, упрямылся и не уступал.

С тяжелым сердцем собирался он в поход, злясь на жену за ее неуместный каприз, — как иначе назвать это, если вся причина заключается в том, что она, видите ли, боится за него, не хочет, чтобы он уезжал!

За окном поливал дождь, но ждать, пока он перестанет, не позволяло время. Жена все так же стояла у окна, отвернувшись, и смотрела, как струйки воды бегут по стеклу. Иван глянул искоса и заметил на щеке у нее мокрую дорожку. На минуту жалость остро стиснула ему сердце: ведь не один год живут, вместе шли по военным дорогам, дети подрастают...

— Ну, дорогая, я пошел!

Она нервно передернула плечами и промолчала. Затягивать дольше прощание глупо: ничего, кроме слез, не дождешься. Иван ласково повернул ее к себе и стал целовать в мокрые от слез глаза; она сердито противилась, наконец сдалась, и слабая улыбка тронула ее губы.

— Все будет хорошо. Не сердись, а лучше скажи, чего тебе привезти?

— Ничего мне не надо, приезжай сам.

Иван был рад примирению: все-таки она у него хорошая.

К Федору Михайловичу Иван пришел первым. Корневщик жил неподалеку от вокзала в небольшом опрятном голубом домике, обшелеванном дощечкой в «елочку». Белые наличники и ставенки с украшениями придавали домику прямо-таки игрушечный вид. Злобный пес, ростом с овчарку, не давал пройти за калитку, пока не вышел хозяин.

— Проходи, — сказал Федор Михайлович, удерживая пса. — Сейчас Шмаков должен принести билеты.

Ивану показалось странным, что хозяин, связавший свою судьбу с промыслом, таежник, живет не где-нибудь в поселке, а почти в центре города. Правда, теперь, ког-

да транспорт позволяет человеку попасть, куда только он пожелает, можно бы и не удивляться этому. И все же почему он избрал город? Судя по обстановке, малых детей у него нет, так что это не связано с необходимостью учить их, из-за чего нередко люди покидают таежные поселки и переезжают туда, где есть школа-десятилетка...

— Хочешь посмотреть женьшень? — обратился к Ивану хозяин и, не дожидаясь ответа, вынес плоский ящичек с двумя растениями. На обоих было по грозди красных ягод, но на одном и ягоды, и листья крупнее, на другом — помельче.

— Сто шестьдесят пять граммов, а этот — тридцать пять, — пояснил Федор Михайлович. — На зиму убираю в подпол. Главное, чтобы солнце не обожгло — сразу замрет. Поливаю через ситечко, вроде бы дождичком. Растут, хлеба не просят, а на черный день живая денюга. Уже третий год...

Иван долго рассматривал эти редкие растения. Впервые в жизни видел он живой женьшень и старался запомнить его весь — от ворсистого фиолетового внизу стебля до стрелки с ягодами.

Звякнула щеколда у калитки, снова злобно забрехал и загремел цепью пес. Подошли Шмаков и Миша, оба в полном снаряжении, одетые по-походному: Шмаков в солдатском обмундировании, а Миша в черном лыжном костюме из какой-то грубой ткани, вроде «чертовой кожи». Мешки с поклажей высываются выше головы: навьючено на совесть.

При виде женьшеня у Миши жадно загорелись глаза: вот это да! Он осмотрел его со всех сторон, даже принюхался, потрогал пальцем темную поверхность листа и глянцевиные ягоды. Вздохнул:

— Неужели не повезет?

— В удачу не верить, так и в тайгу ходить незачем. Шмаков озабоченно глянул на ручные часы:

— Пора бы уже. Можем опоздать.

— Сейчас подойдет мой компаньон, — сказал Федор Михайлович и, сверившись по своим часам, досадливо пожал плечами: — Где его черти носят — не понимаю? Договорились же к семи часам, должен вот-вот быть. Загулеванил, что ли...

Он вышел за калитку посмотреть — не идет ли? Вско-

ре громкая брань оповестила, что наконец-то появился пятый компаньон. Ничуть не смущаясь, он отвечал на попреки хозяина, что раньше не мог, потому что «подвалил» какой-то родственник, выпили... Свою речь он пересыпал большим количеством бранных слов, хотя Федор Михайлович был много старше его. Видимо, подобная форма общения была для него привычной, и он даже не думал, что может этим кого-то оскорбить.

— Владимир, — коротко называл он себя, подавая всем поочередно руку. — Понимаешь, выпили поллитру, он другую ставит. Мало. Пока в магазин, туда-сюда, а время уходит...

Высокого роста, атлетического сложения, он, должно быть, был хорошим ходоком. Рукопожатие напоминало железную хватку капкана, а если добавить, что за плечами на рогульках у него покоился самый объемистый мешок да Федор Михайлович сверх того сразу же повесил ему на шею еще и карабин, то сил у него было, видимо, с избытком. По виду ему около сорока, оказалось — под пятьдесят. Смуглое лицо с желваками на скулах без единой морщинки, из-под широких черных бровей сверкают цыганистые глаза, волнистые, блестящие, как смоль, волосы придавлены круглой матерчатой шапочкой. К шапочке подшита пелеринка, закрывавшая шею и плечи.

Глядя на него, Иван даже позавидовал: черт возьми, есть же на свете люди, которых обошло всякое лихо! А вот ему не повезло. На войне хватил всего: и тонул в ледяной Волге под Калинином, и мерз в снегу под Ржевом, и мок в сырых окопах Смоленщины. Теперь — чуть к непогоде, так и скрипит каждая косточка...

— Присядем, чтоб удача была, — скомандовал Федор Михайлович и, когда все молча посидели с минуту, поднялся первым.

Гуськом все подались за ним. Подвыпивший Володя покачивался и широко ставил ноги.

Так очутились в одной компании разные и до этого вовсе не знакомые люди.

Вскоре поезд уносил их к станции Бурлит. Разговор не клеился, и Володя предложил сходить в ресторан. Федор Михайлович согласился, но потом спохватился: кто же останется возле вещей?

— Я в ресторан не иду, — отозвался Иван, не любивший пьянки да еще в дороге. — Могу присмотреть.

Федор Михайлович подал ему карабин:

— Мешок не унесут, никакому черту сухари сейчас не нужны, а за оружием нужен глаз.

Шмаков от ресторана тоже отказался, сославшись на то, что перед самым отъездом плотно поел. Когда остались вдвоем, сказал:

— Не люблю. Пошел в тайгу, какая может быть пьянка, — он повесил на крючок фуражку с зеленым верхом — видно, купил на базаре у какого-то бывшего пограничника — и стал укладываться. — Пробный выход у меня.

— То есть как? — не понял Иван.

— А так. Энцефалитом переболел. Сейчас хочу узнать, смогу ли снова ходить по тайге. Даже мешок утрамбовал потяжелее, чем следует. Боюсь, как бы лечение на сердце не отразилось. Проверить хочу.

— Где же вы его подхватили?

— В прошлом году в Приморье. Пошел вот так же корневать, а клещ укусил. Ну укусил и укусил... мало ли нашего брата-таежника клещи кусают. Оторвал его — и в огонь. В тайге ведь от них не убережешься. А тут через несколько дней температура, головная боль. Из тайги выносили — без памяти был. Шесть месяцев в больнице провалялся, шестьсот сорок уколов принял.

— Ужас.

— Ну, уколы — черт с ними. Я рад, что нормальным человеком выкарабкался, а то после болезни — либо трясун, либо паралитик. Вот как оно: кому-то вторую молодость ищешь, а самому порой этот женьшень жизни стоит.

— Что ж поделаешь, — пожал плечами Иван, — свеча светит сгорая... Скажите лучше, вам не страшно после этого опять в тайгу? Вы же на пенсии, можете совсем никуда не ходить.

— По-вашему, попал в автомобильную катастрофу, так и носа на улицу не кажи? — Шмаков помолчал, потом раздумчиво добавил: — Мое счастье, что компания добрая попалась, вынесли, хоть и заработка из-за этого лишились... А в городе сидеть не могу. Тянет. Пока ноги носят, буду ходить. Осень подойдет, на охоту подамся,

за орехами. Телеобъектив приобрел, фотографировать буду.

Иван кивнул. — понятно.

Он уже дремал, когда появились из ресторана подвыпившие компаньоны. Володька еле держался на ногах, его кидало из стороны в сторону, он цеплялся за полки, но во весь голос хвастался своими охотничьими подвигами. Миша не хотел принимать его рассказы за чистую монету и горячился:

— Что ты мне заправлять будешь, когда я сам с одиннадцати лет промысловик! Этих сохатых и медведей перевидел — дай бог...

Глаза у обоих влажно поблескивали, они готовы были сцепиться, но Федор Михайлович сурово одернул их: — Ша! Люди отдыхают.

Спорщики, ворча под нос, плюхнулись на свои полки. Была глубокая ночь, когда поезд остановился на станции Бурлит. Паровоз нетерпеливо поыхивал паром, словно бы поторапливал выгружаться. Едва корневики выпрыгнули из вагона, поезд медленно поплыл дальше.

Прохладная влажная ночь охватила Ивана. Поеживаясь после теплого вагона, он вдел руки под лямки мешка и торопливо зашагал за своими компаньонами. Огни в поселке горели кое-где, перрон скупо освещался одним фонарем. К западу от железнодорожных путей расстилалось болото или луговина — пласт тумана прикрывал его от глаз. Поблескивали под ногами мокрые от росы камешки, трава на обочине казалась седой.

В глубине небольшого скверика стояло одноэтажное станционное здание. В зале ожидания в спертой духоте дремало на громоздких железнодорожных диванах несколько пассажиров.

Иван вышел на улицу размяться. В скверике он разыскал скамейку, на которой можно было неплохо устроиться. Он вынес мешок с поклажей, вытер влажную скамью газетой, застелил накомарником и улегся. Над головой сквозь перистые листья ясеня проглядывали звезды. Редкий туман размывал их очертания: мелкие скрадывал вовсе, а крупные казались большими, чем на самом деле, будто смотрел на них через неотрегулированный бинокль.

Звезды мерцали холодным светом и были столь далеки, что казалось невероятным достичь их когда-нибудь. Он видел не все небо, а только кусочки между ветвями и не узнавал ни одно из созвездий. Иван вздохнул: «А много ли мы знаем этих созвездий? Серебряный ковш Большой Медведицы да Стожары разве».

Днем Федор Михайлович пытался дозвониться до Будкова — Павел Тимофеевич обещал встретить их с лодкой, как только получит телеграмму или сообщение, — но ничего не вышло. Лишь к вечеру подвернулась оказия из Бурлита на Красный Перевал — самоходная баржа с грузом для леспромхоза. Чтобы ускорить выход, пришлось помочь загрузить ее шифером. Баржа отчалила в сумерках.

Шли всю ночь. Каков здесь Бикин, представить было трудно. В темноте проплывали отдельные купы каких-то крупных деревьев, пойменные заросли тальника возникали то справа, то слева, как только баржа, следуя по створам, от огонька к огоньку, прижималась к берегу.

Занималась ясная утренняя заря, когда путники сошли на берег в поселке. Над высокой крутобокой сопкой полыхало розовое небо. Поселок, лежавший у подножия, терялся на фоне этой темно-зеленой громады. От облака, заночевавшего на вершине, клочьями сползал в долину реки синий туман.

Федор Михайлович уверенно вел улочками и переулками к домику Будкова. Поселок просыпался: бренчали ведрами женщины, цвиркали по подойникам струйки молока, горланили петухи, мычали коровы, выгоняемые на пастбище. Пастух поторапливал запоздавших хозяек, покрикивал, чтобы быстрее выгоняли скотину: Обочиной, уступая середину улицы коровам, шли степенные козы, покачивая набрякшими острыми сосками.

Будков вышел на крылечко с помятым от сна лицом.

— Что ж, заходите, располагайтесь, ребята, — пригласил он и тут же принялся объяснять Федору Михайловичу, почему не встретил: — Понимаешь, ездил за ягодами, а тут твоя телеграмма. Вчера вечером приезжаю — лежит. Ах, мать честная, что делать? Думал, если сегодня не подвалите оказией, подаваться за вами.

Он присел за стол, нашарил в кармане кисет с табаком.

— Ягоды нонешним летом ни к черту: гоняли, гоняли с места на место, три канистры бензину сжег, а привезли полбочки. Только время потеряли. Я, может, и не поехал бы вовсе, так дочка гостит, домой собирается, надо что-то с собой увезти. Все одно к одному... Закуривайте мово самосаду.

Все молча враз задымили. Синим пластом повис едкий махорочный дым над столом, растекся по углам.

— Ну, ты как, собираешься? — нарушил молчание Федор Михайлович. — Все у тебя готово?

— А что мне? Как говорят, нищему собраться — только подпоясаться, — ответил Павел Тимофеевич, делая большие затяжки и выпуская дым клубами. — Бензину вот только в леспромхозе разживусь. Малость у меня было припасено, да за ягодами, будь они неладны, сгонял, так теперь лишь четыре канистры осталось. Пожалуй, в оба конца не дотянуть, маловато. А сухарей сегодня же на пекарне закажу, к вечеру готовы будут.

— Павел Тимофеевич, — обратился к хозяину Володька, — не слыхать, никто на корневку не ушел еще?

— Пока нет. Мотаются тут по поселку двое каких-то, так они вроде бы в верховья, за удэгейцев, подаваться хотят.

Миша рассматривал убранство прихожей. Кроме стола и скамеек по бокам, тут ничего из обстановки не было. Поношенная одежда, разное старье беспорядочно развешано по стенам на вбитых гвоздях. Поймав его взгляд, Павел Тимофеевич сказал:

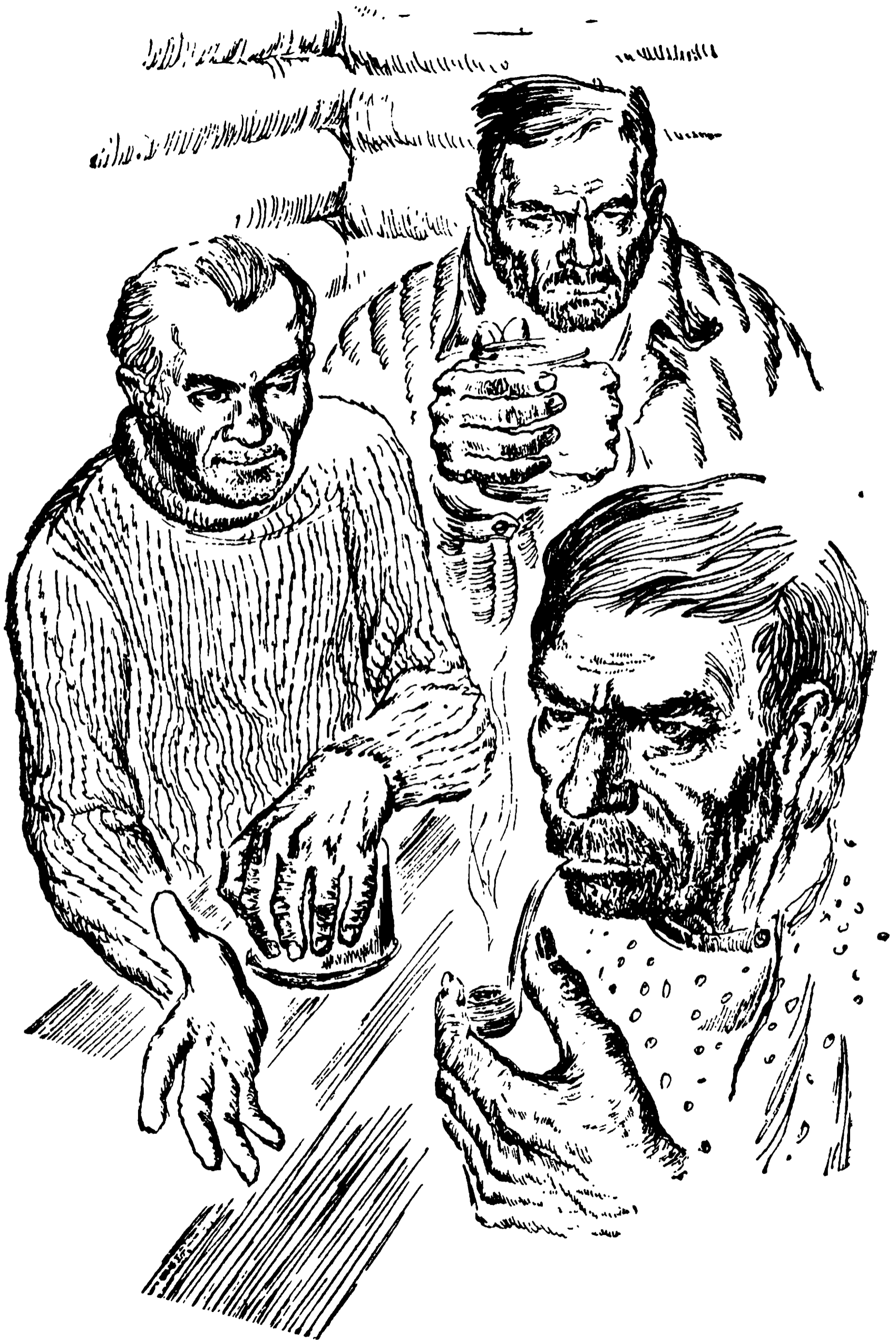
— Небогато живем... В горницу, ребята, не приглашаю, там бабы да детвора еще спят. Если кто отдохнуть желат, так на чердаке можно прикорнуть. Одежонка, чтобы укрыться, там есть, постлано... Старуха-то вчерась умаялась с этими ягодами, спит. Немножко погодим, проснется, тогда картошки наварим, чего ни есть соберем.

— Вы где-нибудь работаете или на пенсии? — поинтересовался Иван.

— Какое там — работаю. Я же весь израненный, — он заголил подол рубахи и показал шрамы на животе, боках. — Осколками, пулевые тоже есть...

— Богато досталось. Где это вас так?

— В сорок четвертом. Да не в один раз. Летом де-



ло было, перед самым наступлением. Рокоссовский в часть приезжал, самолично задачу ставил. Так, мол, и так, надо прощупать немца. Есть, мол, у нас сведения, что он подтянул к вашему участку дивизию. А откуда, с какой целью — это станет нам известно, когда приведете языка. Поддержку вам туда и когда обратно будете выходить обеспечу, только чтоб, значит, порядок был в этом деле. Мол, на вас надеюсь...

В ту же ночь устроили «сабантуй», и мы пошли. Немец на высотках сидел, а между ними низинка. Вот мы и сунулись этим болотцем, поскольку там ничего, кроме проволоки, не замечалось. Пока там шум да треск, думаем, проскользнем...

В роте нас человек тридцать, автоматная рота, друг друга знаем. Из командиров только один офицер — старший лейтенант Пашков, а все остальные — сержанты: я да еще два помоложе. Так вот. Хоть по сторонам бой — сабантуй, а низину немец все равно под обстрелом держит: нет-нет да и прострочит из пулемета.

Ну, проволоку прорезали, ничего, никто не пострадал, а когда болотцем поползли, на минах человек семь потеряли. Он, гад, что наделал? В болоте ему сидеть неохота, так мин понасовал, что картошки. И все больше шрапнельных, прыгающих. Торчат три проволочки — усики, а надавил или задел за отвод, если натяжного действия, она вылетает из земли и на тридцать метров косит вокруг. Словом, здорово нас эта гадость подвела. Которых наповал уложила, тем, как говорится, и на болоте царство небесное, а каково раненым? Ну, думаем, все, сорвалась наша разведка. Поглядываем на старшего: как он решит, так и будет.

Павел Тимофеевич затянулся, поперхнулся едким табачным дымом, помахал рукой перед лицом и продолжал:

— Пашкову, командиру нашему, лет эдак под тридцать, в роте он у нас с полгода, не один бой с нами прошел, росту он примерно вашего, — указал Павел Тимофеевич на Мишу, — и знали же мы его, как облупленного. А тут засомневались: одним махом потерять чуть не четверть роты — любой задумается. К тому же немец, видно, заподозрил, что братья-славяне зря сабантуй устраивать не будут, чешет по болоту пуще преж-

него. Хоть и наугад, а пули прямо-таки траву стригут, головы не поднять. Думаем, все, сейчас скомандует отходить.

Подзывает Пашков сержанта, выделяет ему в помощь двух бойцов. Чтоб, говорит, всех раненых вынесли под личную вашу ответственность. А нам — вперед, выполнять задачу. Серьезный, решительный командир был, до последнего шел.

Ползем уже порядочно, стали подниматься на ноги, и тут хлопнуло у нас старшого. Словом, когда человеку не судьба, так его и на печи смерть найдет. Сбились мы в кучу, стали совещаться, рядить, как нам быть дальше. Мнение одно — задание нам не выполнить, надо возвращаться, поскольку без командира мы — никто.

Слушал я, слушал, и так мне обидно стало. «Как же так, говорю, братцы, столько людей мы уже потеряли, назад пойдем, еще кого-нибудь погубим, и все напрасно? Хоть бы задачу выполнили, так какой-то прок в нашей гибели был. Командир погиб, так разве это причина, чтобы возвращаться. Мое мнение такое: пусть сержант принимает команду, он пограмотнее, карту понимает, и надо брать языка, как приказано».

Сержант, как услышал такое, на отказ: «Ты, говорит, тоже сержант, к тому же возрастом постарше, опытнее, вот и принимай команду. А по карте, если понадобится, я тебе всегда помогу».

«Какое ваше мнение, ребята? Доверяете? Тем более, что, пока мы тут с вами судим, рядим, возвращаться все равно уже поздно. Вот-вот рассветает, заметит нас фриц, всех положит перед проволочкой...» Известно, какая ночь в середине лета: заря с зарею едва не сходится.

«Доверяем, — отвечают. — Веди». Вот я и повел. Первым делом поглубже в лес, чтобы на след не напали. Днем отдохнули, потом вылезли к деревеньке. Домов — раз-два и обчелся, а мотоциклисты нет-нет да пылят к ней. Значит, думаю, штаб какой-то. Как раз то, что нам нужно... Как стемнело, подобралась вплотную, долбанули. Эсэсовцы оказались. За фронтом в тылу стояли, без опаски. В подштанниках из окон сигали. Чистая была работа. Часа через два мы уже обратно к передовой подходили. И тут зацепило меня, но ребята не бросили, вынесли.

Рокоссовский, как узнал, что вернулись мы, сразу прикатил. Руку пожимал, благодарил. Меня в медсанбат отправляли, подошел: быть, говорит, тебе с этого дня старшиной. Сегодня же приказ, мол, подпишу и к ордену Славы представлю. Молодец, мол, не побоялся принять ответственность.

— Значит, это у вас отметки за разведку? — указывая на шрамы, спросил Иван.

— Нет, потом еще не раз цепляло. Напоследок, осенью, в Восточной Пруссии под осколки попал, там меня и разрисовало.

— Выходит, коренной фронтовик, — заключил, смеясь, Шмаков. — Значит, столкнемся...

— А какое это сейчас имеет значение? — пожал плечами Миша. — Не понимаю...

— Очень большое. Павел Тимофеевич, скажи, есть разница между фронтовиками и теми, кто пороку не нюхал, или нет?

— Есть, ребята, есть, — кивнул хозяин. Он производил «ребяты», словно перед ним находились школьники, а не взрослые люди. — Если человек хватил горького, с ним завсегда легче столкнуться. Это уж я не раз примечал.

— Правильно, Павел Тимофеевич. Фронтовики — эта связь покрепче иного родства.

— Эдак, эдак, — кивал головой Павел Тимофеевич. — С другим перекинешься словцом и как узнал, что воевал, да еще на одном фронте, он тебе заместо брата. Все готов отдать, последним поделиться...

— Выходит, вы теперь на пенсии?

— В сорок пятом по чистой списали, а пенсия — велика ли? Едва на хлеб-сахар, и то слава богу. Вот и приходится промышлять. Коровенку со старухой держим, огородишко. Так и перебиваемся, особо не бедствуем. Иной раз и поллитру возьмешь, не без того. Старшая дочка и два сына уже отделились, своим домом живут, а меньшие двое еще при нас. Все бы ничего, да сыну одному не повезло: на лесобирже работал и под бревно попал. Помяло, теперь тоже работать не может. Сказали врачи, надо полегче работу искать. Устроился было почтальоном, так у начальника связи свояченица подвернулась, надо куда-то ее воткнуть — выжил парня. Думаю

по начальству пойти, пусть устраивают куда-нибудь: не по пьяной лавочке пострадал парень — на службе. В прошлом году начал его корнем отпаивать, вроде бы полегчало, не такие головные боли стали. Хочу на этот раз с собой его взять, может, сам корень найдет. А вы-то когда корневали или впервой идете?

— Я впервые, — ответил Иван. — Хоть бы поглядеть, как другие искать станут, и то ладно.

— Для интересу или как?

— Отпуск у меня. Потом, может, что напишу. Народ этим интересуется.

— Понятно. Ну, ничего, ребята, ничего. Подфартит, так, глядишь, и вы найдете. Такое дело...

В этот день Павел Тимофеевич так и не собрался. С утра в доме поднялся дым коромыслом: уезжала дочка в город и по такому случаю устроили проводины. Собрался полон дом родни, знакомых.

Иван, Шмаков и Миша заблаговременно убрались подальше от греха на чердак и там отсиживались. Павел Тимофеевич все порывался усадить их за стол и кричал снизу: «Ребягы, ребята, спущайтесь, пока за штаны не стянул!»

«Ребяты» отмалчивались и слышали, как дочка уговаривает отца:

— Ну зачем это, папа. Люди они городские, может, не хотят, а ты будешь приневоливать.

— Как не хотят? В гостях они у меня или нет? Ребяты! Вот я сейчас их...

Наконец за столом ударились в песни.

— «Шумел камыш...» — усмехнулся Миша. — Значит, все, перебор.

Действительно, внизу пели, кто во что горазд. Потом возникла какая-то перебранка, и Павел Тимофеевич стал выкрикивать:

— Руку на отца подымать, да? Я тебя, сукиного сына, выкормил, выпоил, а ты... Пусти, расшибу! — Ему что-то отвечали, за возней было не разобрать. — Ладно, гад, ломай отцу кости, вяжи... Мерзавцы... Ы-ых!

Возня затихла, гости еще попомонили и гурьбой вывалились за порог.

Дочка — виновница всей этой кутерьмы — оказалась

особой лет двадцати семи, сухощавой, высокого роста, довольно разбитной на вид. От выпитого по лицу ее расплзлись неровные красные пятна. Взмахивая платочком, она все притопывала и приплясывала, сама себе подпевая. В то же время глаза ее цепко и по-трезвому серьезно следили за тем, как выносят ее багаж.

К калитке подогнули подводу, погрузили ящик с ягодой, ведра, обвязанные поверху тряпицами, и чемоданчик, усадили мать — небольшую сухонькую женщину; из-под платка выбивались прядями волосы. Дочка уселась рядом, обняла ее за плечи.

— Но-о! — повозка тронулась, колеса завихляли, поднимая за собой вязкую пыль. Провожающие стали расходиться. Повозка вернулась часа через два. Сыновья бережно, на руках внесли в дом уснувшую мать, уложили ее и ушли. В знойной тишине басовито гудели рыжие слепни, поналетевшие во двор вслед за лошадью.

Вечером, когда спала жара, Иван и Шмаков решили пройтись поселком. Возле пекарни они увидели Павла Тимофеевича. Без кепки, покрасневшийся, с расстегнутой во всю грудь сорочкой, он что-то горячо и сбивчиво доказывал работнице пекарни. Из кармана у него торчала бутылка водки. Женщина, смеясь, махнула рукой и, не дослушав его объяснений, убежала.

— Бывают же такие, — проговорил Шмаков. — Только начал пить — не остановится, пока последнее с себя не спустит — до штанов...

— По первому разу судить трудно, — уклончиво сказал Иван. — Приехали, попали как раз на проводы. А в другое-то время как живут, не видим...

— Чего там, не первый раз наблюдаю пьянки, — непримиримо продолжал Шмаков, — знаю. Неделями бьется, сил своих не щадит, чтобы копейку заработать, прижимает себя и других, а подошло, накатило — и летит все прахом. За день-два спустит все подчистую. На что угодно может пожалеть денег: на еду, на одежду, на обувь, детям не даст на гостинцы, а на водку, раз собрались гости — до последнего проша...

Они шли поселковой улицей к причалу, где высадились с баржи. Построенный лесозаготовителями несколько лет назад поселок уже оказался далеко за фронтом работ. Лесные заготовки давно велись за десятки

километров от него, там строились новые поселки, а этот оставался — не село и не рабочий поселок.

— Смотрю вот, — переменял разговор Иван, — «самоедствующий» поселок. Строевой лес вокруг вырублен, а пашен не распахано, предприятия по переработке древесины нет. Живут люди, работают на почте, в сельсовете, в магазинах, пекарне, амбулатории, школе, с пятого на десятое перебиваются, а отдачи — никакой. Потребители. Сами себя обслуживают. И таких «диких» поселков в крае предостаточно: и по леспромхозам, и по Амуру. Не раз задумывался, почему такое? Причин много...

— Какие там причины, — перебил Шмаков. — Минувала необходимость — закрывать такие поселки и basta! Канителімсья много.

— Удивительно прямолинейно вы рассуждаете. Эдак в крае один-два города останутся, а остальное все — по боку. Лес сведем, оголим землю, да и подались в далекие края. Так по-вашему, что ли? А не задумывались, много ли у нас этих необжитых краев осталось?

— Что толку держать народ там, где нечем заняться?

— В том-то и дело, что надо не только держать народ, но и думать, какое занятие предоставить. Осваивать, улучшать землю надо, а не опустошать.

— Кому положено, думают.

— Думают, да поздновато. Эта проблема для края уже такова, что с маху ее не решить.

Шмаков пожал плечами.

Опнистая заря густо подрумянила склон сопки, кудрявившийся на ней дубняк. Дальние горы, за которыми лежала долина Алчана — крупного притока Бикина, — напитались густой синевой и словно бы придвинулись ближе. Загорелись на миг стекла в домах, окрасились в горячие тона не успевшие выбелиться под дождями и ветрами стены из розового смолистого листвяка, и холодные сумеречные тени стали заполнять низину. Солнце утонуло за стеной леса и, словно рыбацкую сеть, сгоняло за собой сияющие краски дня.

Утром Павел Тимофеевич встал с больной головой, чуть живой, с отечным лицом. Федор Михайлович, видя, как он вздыхает, хватается за сердце и мучится, вздох-

нул, сходил за поллитровкой водки, принес заодно хлеба и селедку.

— Загулял я вчера, — с виноватым лицом объяснял Павел Тимофеевич. — Ох-ха! Трешшит головушка, ой трешшит. Может, что неладно вчера было, так уж простите, ребята, не обижайтесь...

— Ладно, чего там, сам гулеванил, знаю, как это бывает. Пей! — придвинул к нему стакан с водкой Федор Михайлович.

— Ни-ни! И ни в рот. На глаза не надо! — отнекивался Павел Тимофеевич. Вероятно, ему и в самом деле противно было смотреть на водку после вчерашнего. Жаль только, что муки похмелья так быстро забываются. — Видеть не могу, вот ей-богу!

— Пей! Опохмелишься, легче станет.

Руки у Павла Тимофеевича дрожали, когда он поднес стакан к губам. Выпив, крупно, с отвращением содрогнулся. Скривившись, он долго тыкал вилкой в кусок селедки, пытаясь загарпунить его на острие, но так и не сумел. Он просяще взглянул на Федора Михайловича.

— Не будешь против, если я и старухе маленько поднесу. Самую малость — с наперсток. Тоже мучится.

Он ушел со стаканом в другую половину избы и вскоре вернулся оттуда просветленный.

Завтракали молча. Вареная картошка, селедка, стрелки зеленого лука, чай — вот и все, что смогли приготовить сами.

— Как у тебя, на сухари хоть осталось? — спросил Федор Михайлович, когда завтрак подходил к концу.

— То-то и оно, что ни копыя. Не знаю, что и делать, — признался Павел Тимофеевич. — Заначку специально на этот счет держал, да все спустил.

— Ясно. Что будем делать? — обвел своих компаньонов хмурым взглядом Федор Михайлович. — Как-то надо выбираться, а как? Если другую лодку нанимать, дороже обойдется и потеряем время. Может, по трешке скинемся, поможем?

Все начали выкладывать на стол деньги.

— Вот, на сухари, консервы, крупу. Масла возьми. Сам знаешь, на полмесяца идем, а то и поболее, на одних сухарях не продержишься, — сурово наставлял хозяина Федор Михайлович.

— Это я мигом, — засуетился Павел Тимофеевич. — Момент. Одна нога здесь, другая — там. Лодка у меня на ходу, только канистры поднести. Вы пока начинайте, собирайтесь.

Схватив большой крапивный куль, он побежал в пекарню, а остальные стали через огород носить к лодке поклажу, канистры.

Подошел младший сын Павла Тимофеевича — Василий. Малорослый, худощавый, с болезненным лицом, он походил на мать.

— Ну, как, Вася, едешь? — спросил Федор Михайлович.

— Нет, не берет отец.

— А говорил с ним?

— Только что. И не глядит.

— Пошто было руку поднимать? Ведь отец.

— Да кто поднимал? Этой зануде показалось, что мало ей ягод дали, — хмуро отозвался Вася о своей сестре. — «Фашист, говорит, пожалел». Я же ей собирал, я же еще и плохой, фашист. Вот за «фашиста» я ее по губам и щелканул, совсем легонечко, чтоб знала, как обзываться. А он не разобрал и давай кулаками размахивать.

— Отец. Надо было стерпеть.

— Ну и что ж, что отец? Значит, все дозволено? Да если б мы его били — другое бы дело, а то просто связали, и все! — Вася потоптался еще возле лодки и, хмурясь, проговорил: — Все эта зануда виновата. Не она, ничего бы и не было! — и махнул рукой: — Поезжайте, ничего. Мы с братухой и без него дорогу найдем куда надо.

Вскоре показался Павел Тимофеевич с кулем за спиной, вспотевший, красный, взъерошенный, словно петух после драки. Отдуваясь, он сбросил куль в лодку и присел на бочку.

— Уф, забегался! Пока туда-сюда... Только переодеться еще, и можно ехать.

— Сына-то пошто не берешь? — спросил Федор Михайлович. — Ну, поскандалили, так с кем по пьянке не бывает?

Павел Тимофеевич снова побагровел, глаза стали злые.

— Подыхать буду — на порог не пушу! Я их растил, кормил, последние жилы на них выматывал, а они меня, туды-растуды, за грудки, значит? Конечно, разве я сейчас с ними совладаю? Старший вон какой бугай вымахал, а я весь покалеченный. Не надо и близко!

Федор Михайлович сокрушенно покачал головой: дело твое, тебе лучше знать.

Бикином идет лодка. Володька после гулянки пошел «добавлять», прошлялся где-то всю ночь и теперь лежит в носу лодки, раскинувшись, и спит тяжелым беспробудным сном. Жалко смотреть на его красивое, мускулистое и такое опустошенное тело.

Миша и Шмаков о чем-то разговаривают лениво, о чем — не разобрать из-за шума мотора. Федор Михайлович дремлет, откинувшись на мешки с поклажей. Иван бездумно смотрит на голубую, убегающую назад воду.

К правому берегу Бикина подступают сопки. Некоторые обрываются у воды отвесными кручами. На голых, почти вертикально поставленных плитах камня ничего не растет. Зато по ним, как по книге, можно проследить изломы, сжатия, происходившие в далекие времена горообразования, — всю историю гор. Это — отроги водораздельного хребта между Хорским и Бикинским бассейнами.

На кручах шапками курчавятся дубняк, черная береза, цепкий жасмин, розовеют заросли цветущей леспедыцы. Среди папоротников и трав проглядывают рубиново-красные звездочки поздних лилий, а в расселинах и трещинах скал тут и там уютятся розовые глазки гвоздик.

Тучная летняя зелень однообразна по своему звучанию, и только на первый взгляд, только неопытному новичку кажутся деревья все на одно лицо. А приглядишься — и начинаешь различать, что на более отлогих склонах господствует лиственница, а по распадкам — буйные заросли ясеня, бархата, липы, маньчжурского ореха. Среди их шарообразных вершин поднимаются, как скалы-останцы, многовершинные, будто садовником подрезанные, темно-бархатистые кедры.

Маяками высятся они над остальным лесом, придавая ему неповторимый вид.

На многочисленных островах, образованных протоками Бикина и затопляемых в паводки, в первой шеренге, лицом к воде, валом стоят ивовые заросли — тальники. Узкие их листочки, подбитые снизу шелковистым белым ворсом, при небольшом ветерке и ярком свете создают феерическую игру голубого, зеленого, серебристого, сразу выделяя тальники из остальной растительности. Как живая преграда стоят они у воды, ограждая берега от слишком быстрого размыва и разрушения. Без тальников немислима ни одна река в крае.

Иван мог подолгу, не уставая, смотреть на них. При любой погоде они ему нравились: когда шквальный ветер треплет и расстиляет по земле высокие вейники, они словно белеют от гнева и превращаются в кипящий вал пены, похожий на морскую приливную волну; вечерней порой, когда небо золотится от последних отблесков зари и в тиши раздается чеканно-серебристое «чаканье» козодоя, они полны таинственной значимости. Застывшие в неподвижности, они повторяются в зеркальной воде, и, глядя на них, хочется верить, что на свете были и Аленушка, и ее братец Иванушка с их печальной судьбой, и начинаешь поневоле прислушиваться к настороженной, чуткой тишине.

За шеренгой тальников поднимались ввысь чозении, похожие на украинские пирамидальные тополя. И повсюду вейники — трава почти в рост человека. Она глушила все другие травы и даже кустарники. Только на более возвышенных и хорошо прогреваемых гривках среди вейника проглядывают чемерицы, широколистный побуревший лабазник и двухметровый дудник — медвежья дудка с лилово-красным суставчатым стволом. Порой к толпе чозений вдруг примешивались яблони, черемуха, ясени; дикий виноград шатром накрывал кусты и даже взбирался на большие деревья, в сплошные непроходимые заросли сплетались другие лианы. Здесь же по островам можно было найти калину, смородину, шиповник.

На левом берегу попадались станы косарей, сметанные стога, одиноко стоящие могучие, развесистые иль-

мы. Эти картины живо напомнили Ивану детство, когда он с отцом вот так же ставил палатку и неделями жил на речном берегу, дичая от воли, ветра, солнца, от глухомани, которая лежала вокруг, от пьянящего запаха скошенных трав, от голубого неба и белых облаков. Иван невольно поймал себя на том, что ему приятно вспоминать прошлое, когда жизнь казалась простой и ясной, как эта широкая, расстилающаяся среди галечных отмелей река. Ведь именно с детских лет зародилась у него любовь к родному краю, не потерявшая остроты до сих пор. Это сильное чувство помогло ему пройти через все испытания в годы войны, помогает и сейчас, наполняя его жизнь большим содержанием.

Осиновые рощи языками тянулись среди заливных лугов и зарослей таволги к Бикину, как бы связывая реку с морем кердово-широколиственных лесов, которые терялись вдалеке, на голубых отрогах Сихотэ-Алиньского хребта.

Лес не вызывал у Ивана слепого восхищения или недоумения. Это — его добрый знакомый, и каждому новому дереву он мысленно говорил «здравствуй!», как другу после долгой разлуки.

Павел Тимофеевич направил лодку к берегу. За черным утесом открылась изогнутая, отшнуровавшаяся где-то выше от главного русла протока. Маслянисто поблескивала темная стоячая вода.

На вопросительный взгляд Ивана он крикнул: «Почаевать пора!» — и указал рукой вперед. Среди зарослей Иван увидел шиферную крышу. «Пасека», — догадался он.

Над заливом стоял густой медовый запах, источаемый цветущими липами, испятнавшими своими белесоватыми кронами весь косогор.

— Знатное место под пасеку выбрано, верно! — кивнул в сторону берега Павел Тимофеевич. — Я им еще два таких присоветовал. Тут, если с умом, так залейся этим медом.

— Да, место что надо, за ветром, тихое, — согласился Иван.

— Ежели пасечника не сменили, глядишь, медком побалуемся. Самый сбор. Тут липа не то, что в Расее, не враз цветет. Сначала — которая поближе к берегу,

по низам, потом — та, что повыше, на сопке. Как поученому они зовутся, сказать не могу, а пчеле это выгодно, долгое время может взятку брать. Липа отойдет, держи-корень расцветает...

Лодка ткнулась в берег у небольшого впадающего в залив ключика. На сырой заиленной почве отпечатались следы сапог и детских босых ног. Углубления заполнились водой, и к ним во множестве приникли пчелы, избравшие это место водопоем. Тут же кружились мелкие пепельно-синеватые мотыльки, среди них порхали пестрые, будто камуфлированные черно-белым радужницы. Шренка и кирпично-красные поденки с буровато-серой подбивкой крыльев снизу. Садясь на коряжину и складывая крылья, они сливались цветом с застарелой корой дерева. Редко где увидишь такое множество мотыльков. Басовито гудели рыжие слепни, населяющие в эту пору каждый уголок тайги.

Небольшая узенькая тропка поднималась от ключика к дому пасечника. Над ульями, выстроившимися в улочки, стоял дружный пчелиный гуд.

— Принимай гостей, хозяин! — крикнул Павел Тимофеевич пасечнику, когда тот показался на пороге.

— Что ж, заходите, — пригласил человек средних лет со светлыми, выгоревшими бровями и красным от солища лицом, в простой серой сорочке и хлопчатобумажных дешевых брюках.

Рядом с ним, боязливо выглядывая из-за дверного косяка, держался совсем белоголовый, как одуванчик, мальчонка лет семи.

В доме было прохладно, опрятно. Через раскрытую дверь влетали и вылетали пчелы, но мух не было.

Когда гости стали выкладывать на стол снедь, пасечник принес чашку душистого меду и котелок прохладной медовухи.

Заметив, что мальчонка смотрит на белый хлеб, Павел Тимофеевич протянул ему большой мягкий ломоть и ласково погладил его по головке.

— Спасибо, — застенчиво прошелестал парнишка.

— На здоровьице, малый. Расти большой.

— Наш-то хлебец зачерствел, — словно извиняясь за мальчонку, сказал пасечник. — В полмесяца раз приезжают за медом, заодно и продукты доставляют.

— Чего там. Все малые одинаковы... Помогает?

— Ага. Хлеб жевать. В деревне сейчас духота, грязь, а здесь малышу раздолье: за мотыльками гоняется, цветы собирает, рыбу ловит. Да и мне веселее с ним как-то. Хоть и малыш, а все живой голос.

Медовуха оказалась сладкой и коварной: сразу ударила в голову. Володька и Павел Тимофеевич, еще не отдышавшиеся после пьянки, даже захмелели. Завязался оживленный, но мало интересный разговор. Ивану хотелось осмотреть окрестности, он поблагодарил хозяина за угощение и вышел в сенцы.

За углом, к стенке был прибит еловый сучок — «барометр». Сейчас он показывал на «вёдро».

Над холодным пепелищем, где пасечник вываривал воск, сбились в плотную кучу десятки махаонов, отыскав что-то привлекательное для себя в зле. Иван взмахнул рукой, они враз взмыли в воздух черной метлицей, описывая над пепелищем все большие и большие круги. Когда-то он, мальчонкой, тоже гонялся с хворостинкой за такими же черными крылатыми красавцами. Кроме черных, попадались еще ярко-желтые с черной отделкой крыльев, такие же большие, в ладонь величиной. Сколько бывало ликования, когда удавалось добыть хоть одного. Но человек растет, его жизненные интересы становятся шире, как круги этих мотыльков над пепелищем, он перестает находить удовлетворение в малом. Вот только становится ли от этого счастливее, Иван сказать затруднялся. Скорее наоборот. Пройдет время, и этот белоголовый мальчик, возможно, не раз вспомнит дни, проведенные с отцом на пасеке, как лучшую пору своей жизни.

Стало грустно от этих мыслей; Иван спустился к берегу и сел в лодку. Вскоре подошли остальные. На этот раз никто не улегся спать. Володька подсел к Павлу Тимофеевичу на корму лодки, и между ними начался оживленный разговор. В том, что Володька большой хвастун, за два дня все успели убедиться. Он что-то «заливает», и Павел Тимофеевич слушает, кивает согласно головой, не выпуская из зубов потухшей трубки, видно, придерживается правила: не хочешь — не слушай, а врать не мешай.

Устье Канихезы, куда держали путь искатели кор-

ня, оказалось перекрыто боном и забито бревнами. Лодка прошла вверх по Бикину еще километра два, свернула в узенькую проточку, над которой почти смыкались тальники, и помчалась по течению. По ней и вошли в Канихезу выше бона.

Канихеза неширока, всего метров сорок, вода рыжеватая, болотистая, но течение в ней быстрое. По левую сторону от речки маячат сопки с усохшим после пожара или нападения шелкопряда ельником. Вид унылый, будто из южных лесов путники враз перенеслись на сопки Охотского побережья.

По берегам, среди вейника и таволги — частого прямоствольного кустарничка с рыжеватыми увядающими соцветиями — кое-где поднимались куртинки березняка и осинника вперемежку с малорослым монгольским дубом и акатником.

Над водой нависали подмываемые течением черемухи, усыпанные гроздьями черных, как агат, ягод. Отдельные деревья подверглись нападению гусениц, до глабьевших листву и до самой макушки окутавших ветви паутиной, так что дерево выглядело словно бы остекленевшим.

Лодка движется, как и по Бикину, еле-еле, перегревшийся мотор то и дело отказывает, и тогда приходится притыкаться к берегу на ремонт. Сказывается усталость: от шума, от жары, от долгого сидения все чувствуют себя немного обалдевшими. А тут еще Павел Тимофеевич правил самой серединой, словно задался целью окончательно вымотать всех путников. Лодку обгоняют моторки поселковых жителей, едва не заливая ее при этом водой, а он хоть бы хны.

— Держи левой!

— Правей...

— Ближе к тальникам. Там течение послабей.

Павел Тимофеевич молчал-молчал, потом вспылил, выхватил весло и ткнул им в воду: под веслом отозвалась галка. В самом деле — мелко, не пройти.

— Что я, не понимаю? Сорвать винт, а потом как знаешь?

«Советчики» умолкают. Из-за поворота вынеслась навстречу стремительная узкая лодка с подвесным мотором «Москва». На ней два парня. Тот, что постарше,

лет двадцати двух, с загорелым полным лицом, приглушил мотор и, поравнявшись с Павлом Тимофеевичем, ухватился за корму его лодки.

— Здорово, борода! — насмешливо окликнул он. — Куда это ты путь держишь?

— Закудыкал, удачи не будет! — отозвался Павел Тимофеевич. — Не знаешь, что ли?

— Ладно, можешь не объяснять, сам вижу, не маленький.

Он окинул путников недружелюбным ощупывающим взглядом и, видно, по одежде, снаряжению сидящих в лодке сразу понял, куда они держат путь.

— На черта ты еще этих городских в тайгу тащишь? — пренебрежительно бросил он Павлу Тимофеевичу. — Тут своим заработать негде, скоро совсем труба, а ты еще целую ораву чужих ведешь.

— А чего... Тайга велика, места никому не заказаны, — пожал плечами Павел Тимофеевич. — Иди и ты...

— Ишь, как заговорил. А я-то надеялся на тебя, старина. Думал ты своему слову хозяин. Ведь обещал.

— Что обещал?

— Будто не помнишь? Кто говорил, что поведу, покажу места? Короткая же у тебя память.

Павел Тимофеевич припоминает: да, было дело, сидел как-то с этим толстомордым парнем за одним столом, сейчас даже затрудняется сказать, у кого выпивали. Зашел разговор, он и брякнул: вот, мол, погоди, придет лето, возьму на корневку. Так мало ль чего можно сказать по пьяной лавочке? Надо же это понимать. Тем более, что он даже имени его не припомнит — не то Петро, не то Гришка. Конечно, неловко, но должен и он понять: всех не поведешь...

— Ну, обещал, а потом запамятовал, — Павлу Тимофеевичу мучительно неловко, и он отводит глаза в сторону. — Обстоятельства так сложились...

— Знаем эти обстоятельства. Выкручиваешься. Когда пил, тогда и обстоятельства не мешали. Ну, погоди, ты меня еще попомнишь, старая... — парень обложил Павла Тимофеевича матом.

За приглушенной работой мотора остальным сидя-

щим в лодке не разобрать разговора, зато видно, как шея и затылок Павла Тимофеевича густо багровеют и он двумя руками резко отталкивает лодку парня.

— Сопляк! Молокосос! Угрожать? — кричит он запальчиво и шарит по дну лодки рукой, чем бы запустить в обидчика.

Парень как ни в чем не бывало включает мотор на всю мощь, его лодка окутывается синим дымом.

— За Петькой Карчевным не заржавеет. Учти-и! — доносится его голос, и лодка уносится за кривун.

— Будет мне указывать, кого брать с собой, кого не брать! — долго не может успокоиться Павел Тимофеевич. — Заработка, видишь ли, ему не хватает. Такой лоб, иди лес ворочай, будут и деньги. Мерзавец! «Попомнишь». Я тебе попомню веслом по шее! — запоздало грозит он. — Думает, сто граммов поставил, так уже и человека купил, с потрохами. С-са-бака!

Гнев его искренний и неумный, но наконец он затихает.

Показались штабеля отборной ясеновой чурки с загрунтованными известью торцами — заготовленное сырье для мебельных фабрик, на экспорт. Чуть дальше, за обширным пустырем, с которого совершенно сведены лес и кустарник, на взгорке, открылся поселок лесозаготовителей.

Вечереет. Снова, как и в прошлый вечер, румяные лучи золотят рубленые стены двухквартирных домиков, крыши, окна. Зелень на сопке за поселком густеет до дегтярного цвета.

Лодка приткнулась рядом с самоходной баржей с голубыми надстройками, той самой, на которой добирались из Бурлита. Весь ее груз уже на берегу.

Павел Тимофеевич и Федор Михайлович отправились искать ночлег. Вскоре они вернулись в сопровождении небольшого юркого мужичонки с хитрыми, пронрыливыми глазами.

— Алексей, — назвал он себя, здороваясь, и тут же засуетился: — Па-ал Тимофеич, а мотор я сниму! Дома надежней, чем на берегу. Дальше положишь — ближе возьмешь, не зря говорится. А вы — каждый свое. Канистры? Я прибегу, Па-ал Тимофеич, сам потом заберу...

Он хватал с лодки мешки, поддавал их на плечи, особенно стараясь услужить Павлу Тимофеевичу. Только и слышалось: «Пал Тимофеич, Пал Тимофеич!» Идя к дому с рульмотором на плечах, он даже шел как-то странно, чуть ли не задом наперед, будто пягился, занимая Павла Тимофеевича разговором и заглядывая ему в лицо.

Иван проводил их на взгорок и вернулся к лодке. Зачем идти куда-то в духоту, за сотни метров от берега, когда лето в разгаре, теплынь, ночуй под любым кустом. Однако берег оказался неудобным: захламлен щепой, древеоной корой, ветками и так перепахан гусеничными тракторами, что не найти и метра ровного местечка. К тому же сыро: повсюду сочились из-под земли грунтовые воды. Устраиваться же на штабеле леса Иван не решился: что за сон на круглом бревне?

После долгих поисков он поднялся на самоходную баржу. На вопрос, не уйдет ли она, старшина ответил, что думает простоять здесь дня два. С его разрешения Иван постелил брезент, подвязал у борта свой накомарник и улегся. Дождя не предвиделось, а роса не страшна.

До него долетали из поселка людские голоса, собачий брех, пиликанье гармошки. За бортом сонно журчала вода.

Утром, чуть свет, пришел Федор Михайлович и сказал, что с ними пойдет еще один товарищ.

— Вам виднее, — пожал плечами Иван. — Вчерашний?

— Он самый. У него лодка и новый рульмотор. А то с нашим и за неделю не доберемся! — и махнул рукой: — Черт с ним! Другие не возражают, а мне все одно.

Он покрутился возле лодки и посетовал:

— Зря на берегу ночевать не остался. Всю ночь не спал. Комнатешка мала, а у него семья, да еще нас пятеро мужиков. Духотища...

Подошли остальные путники. Впереди опять шагал Алексей с новехоньким рульмотором «Москва». Он тут же укрепил его на корме лодки, и все стали грузиться, усаживаться. Большая лодка осела так, что еле держа-

лась на плаву. Перегрузка была явная, но Павел Тимофеевич уверил, что все будет в порядке: не по стольку груза возить приходилось и то не тонули.

Миша подсел к Ивану и, оглянувшись, заговорщицки зашептал:

— Вечером у Алексея столковались насчет того, куда идти. Сначала — на старое место, где в прошлом году недобрали, а уж потом, если ничего не найдут, — на Рябов Ключ. У Павла Тимофеевича на этом ключе затески. Туда бы сразу — верное дело. Но они не хотят показывать: видишь, какая компания набирается. Может, даже на другой год оставят. — Он безнадежно покрутил головой: — Хитрое дело тут. Виляют хвостом, паразиты...

С новым мотором лодка, несмотря на перегрузку, шла много быстрее. Проплывали назад тальники, черемуховые заросли, черные от ягод, кедрачи на сопках.

Дальневосточный кедр отличается от сибирского. Его красноватый могучий ствол ближе к вершине делится на несколько одинаковых по толщине и тесно прижатых друг к другу ветвей, устремленных вверх. Эта особенность позволяет называть его многовершинным. В связи с увиденным Ивану вдруг припомнился один любопытный разговор. Он с приятелем спускался на лодке по Амгуни. В пути к ним присоединился ботаник. На привале, у костра, он высказал мысль, что кедр корейский — так его окрестили ученые — своей многовершинностью обязан белогрудому гималайскому медведю.

— Это же такой зверь, что не пропустит ни одного кедра, обязательно заберется на него за шишками и заломает верхушку. Представьте, что такой «операции» этот вид подвергался на протяжении тысячелетий. Ведь раньше зверя было много больше. Поневоле растение приспособилось, приняло ту форму, к которой его принуждают.

— Да, да, — согласно кивал приятель. — Вполне возможно. У сибирского кедра, заметьте, нет этой особенности, только у дальневосточного. Но там нет и гималайского медведя. Стоит сравнить ареалы кедра и животного, как вывод напрашивается сам собой.

Приятель великодушно пообещал ботанику, если

тот возьмется за диссертацию на эту тему, предоставить все свои многолетние наблюдения за медведем, а назавтра, когда ботаник уехал, жестоко высмеял его за его «гипотезу».

— Надо быть идиотом, чтобы додуматься до такого объяснения. Черемуху и дуб медведь заламывает еще чаще, однако они своего вида не изменили. Бота-а-ник! Сидень от науки, не придумает, как без труда сесть народу на шею...

Иван невольно улыбнулся: коварный у него приятель. Такому палец в рот не клади.

Как бы там ни было, а кедр растет себе понемногу, и нет большего удовольствия, чем собирать осенью его опадающие шишки. Одежда, руки, все вокруг пропитывается ядреным смолистым запахом. Почти на каждом дереве Иван видел шишки. Они держались ближе к вершине на концах ветвей и на самых макушках, гроздьями по три-пять штук, тычком в небо.

— Добрый, урожайный год будет, — сказал Павел Тимофеевич. — С одной кедрины по полторы, по две сотни шишек насшибать можно. Ежели по-умному, так его не пилить, а оберегать надо. Одним орехом дерево за несколько лет окупит стоимость своей древесины, да еще и прибыль даст. Орешек-то по шестьдесят копеечек за килограмм примают. Вот и подсчитай.

— А дерево живет триста-четырееста лет, — подсказал Иван.

— Второе — что где кедра, там и зверь держится. Эх, раньше и белки же здесь бывало! Идет, идет и конца-краю ей не видно. А нонче орех есть, а белки что-то не замечаю. Или ушла куда-то, или мор.

— Какой мор, — отозвался Федор Михайлович. — Выбили. В тайге куда ни глянь — люди, каждый с ружьем. Разве зверь удержится...

За рульмотором теперь сидит Алексей и Павел Тимофеевич отдыхает, имеет возможность спокойно поговорить.

— Хорошие, благодатные места были здесь, — вспоминал Павел Тимофеевич. — Я тогда только в леспромхоз поступил. Год выдался голодный, жрать нечего, а народу согнали — всяких раскулаченных, вербованных — тьма-тьмущая. А я — охотник. Как узнал дирек-

тор, вызывает к себе — и что хочешь — муки, крупы дам, какой надо припас бери, только чтоб мяса заготовил. Помню, мешок крупчатки отвалил. По тем временам это богатье. В торгсине такую лишь по бонам за золото выдавали, а он рискнул, не пожалел. Сахару... Подобрал я компаньона и на Салду. Там еще тогда никто не охотился — далеко. Корейцы жили — будем проходить мимо их бараков, покажу, — но какие они охотники: не знали, с какого конца ружье берется. Чумизу сеяли, мак — на опий втихаря, корневали. Набили мы там кабанов, медведей уложили штук пять. Орех как раз был богатый, так сало — не поверишь — на ладонь, на домашней свинье такого не вырастишь. Медвежье сало, сам знаешь, полезительное...

— От ореха сало на медведе жидкое, на морозе и то как следует не стынет, — хмуро заметил Федор Михайлович. Он сидел невеселый, одолеваемый какими-то своими заботами.

— Ну и что ж? Тогда не до того, чтобы там разбираться, жидкое или густое. Голод. Чем ни набил брюхо, то и ладно. Лишь бы сыт. Подзаработали мы тогда, себя и людей мясом обеспечили. На машине мясо в лес-промхоз вывозили и подводами, а всего все равно не забрали. Помню, последние три кабана у меня подальше убиты были, самому вытаскивать пришлось. Весной уже дело было. Снег развезло, вот-вот река тронется. Ох и намучился я с ними. Как сердце чуяло: вытащил туши к речке, с вечера все на плот погрузил и сам спать сверху улегся. Хоть и хмарило, а теплынь, снег прямо гонит. Ночью слышу, собаки чуть ли не по мне лезят, скулят. Думал, зверь какой — тогда и тигра тут похаживала, — а проснуться не могу, умаялся так. Оттолкну их, а они опять... Проснулся: батюшки! — вода подо мной, весь берег захлестнула. Не плот — пропал бы весь мой труд. А так — ничего, по большой воде до самого Бикина сплыл. Там переждал, пока самая шуга сойдет, — и дальше...

Жизнь Павла Тимофеевича издавна связана с промыслами. Нелегкая жизнь. По ней, как маяки, редкие периоды «фарта», когда удавалось хорошо заработать, но чаще всего дни, в которые выпадало какое-нибудь испытание, когда голодал, мерз, мучился от ранений,

когда бывал обманут, или сталкивался с несправедливостью.

— Пал Тимофеич, утки! — крикнул Алексей.

Впереди плыла пара уток. Тревожно оглядываясь и вертясь, они никак не могли решиться: вернуться ли в ключ, из которого их вынесло в Канихезу, или уходить от лодки вперед?

— Стреляй, Пал Тимофеич!

Грянул выстрел. Дробь метлой ударила возле селезня, но, зная, охотник плохо прицелился. Утки поднялись на крыло и по-над самой водой унеслись за излучину. Стрелок с виноватым видом продул свой плохонький дробовичок шестнадцатого калибра и пожал плечами: не понимаю, мол, как могло случиться, что не попал...

— Умирать полетели! — хмуро пошутил Федор Михайлович.

— Нич-чо, Пал Тимофеич, сейчас мы их настигнем, далеко не уйдут, — ободрил неудачливого стрелка Алексей.

Однако настигнуть птиц не удалось: реку перегородила громадная ель, подмытая в половодье. Корни ее цеплялись за один берег, а вершина лежала на другом. Алексей подвел лодку к ней вплотную. «Пилить надо», — высказал свои соображения Федор Михайлович.

— Ерунда. Давайте топор, перерублю! — вызвался Миша.

Он перешел на вибрирующий под напором воды ствол, стал поустойчивей. Пока рубил надводную половину ствола — дело подвигалось хорошо, но вот топор врубился глубже, стал доставать воды. При каждом ударе брызги заливали лицо. Дерево раскачивалось, Миша чудом удерживался на осклизлом стволе. Он в безрукавке, загорелый, с отчетливо выраженной мускулатурой. Молодечество, некоторое бравирование опасностью, своей сноровкой — все это в нем есть. Он прирожденный таежник, вырос на Амгуни. Одиннадцати лет, сняв без спросу отцовское ружье со стены, убежал в тайгу. Выследил сохатого, зверенышем подкрался к этому крупному животному и уложил с первого выстрела. Эта охотничья страсть была в нем столь велика, что

отец бился-бился и махнул рукой: вали, промышляй! Не окончив шестого класса, еще совсем мальчишка, он стал профессионалом-охотником.

Иван знал, сколь суровы места по Амгуни, сколько сил, изворотливости требуется от человека, чтобы уберечься от опасности, не замерзнуть, не утонуть, не заблудиться, не попасть в когти медведя-шатуна. Теперь-то — Иван это не раз слышал — Миша сожалел, что вышел тогда из отцовского повинования, не доучился. Одних практических знаний мало, чтобы стать охотоведом. А вновь садиться за парту, когда обременен семьей, заботами, не так просто.

Миша старательно работал топором. Ель затрещала, вершину стало заносить водой, и проход для лодки освободился. Миша вытер мокрое лицо и прыгнул в лодку.

Вслед за одним препятствием возникли другие. Трижды пришлось прибегать к топору, рубить плавнины. Когда в лодке сидит один-два человека, такие плавнины одолевают с разгона. Но на перегруженной лодке на такой трюк идти опасно: можно проломить днище.

Река с каждым километром все теснее сдвигала свои берега. Вскоре подошли к залому. Плавник забил все русло. Павел Тимофеевич сказал, что в этом месте всегда перетаскивают лодки берегом.

Володька отдышался после пьянки и теперь вместе с Алексеем и Мишей проявлял кипучую деятельность. Он инициативен, силен, ловок, и «старшинкам», как окрестили младшие Павла Тимофеевича и Федора Михайловича, остается только командовать.

Павлу Тимофеевичу река знакома: кривун, охотничье зимовье, залом — словно вехи, по которым узнают расстояние от устья Канихезы. Тридцать четвертый километр, сорок второй, шестидесятый... А предстоит дойти до семьдесят четвертого.

На берегах следы человека: ободраны ели или кедр — значит, кора снята на балаган, кто-то ночевал; срублены деревья — значит, неподалеку зимовье. По реке ходят геологи, лесостроители, промысловики всех мастей, ягодники.

Долина Канихезы сильно заболочена, и по сторонам от реки много голубики. Но сами берега, как и у боль-

многочисленности таких рек, приподнятые, сухие, и на этих узких полосках земли растет буйный пойменный лес. Тут и ель, и кедр, и тополь, и береза, и множество различных кустарников. Двумя зелеными стенами стоит лес у реки. На косах — бордюры из тальников.

Лишь изредка вдруг выдастся просвет, и сквозь него покажутся в отдалении сопки, покрытые густыми кедровошироколиственными лесами, до которых так поспешно и жадно добираются бензопила и трелевочный трактор. На какой-то из этих сопок растет таинственный корень жизни. Иван не перестает думать об этом, и в его воображении рисуется гроздь красных, как коралловые бусы, ягод женьшеня на фоне зеленой листвы.

Всю дорогу он питал надежду, что Федор Михайлович возьмет его в свою компанию, а Шмаков, Миша и Павел Тимофеевич, может быть, образуют другую артель. Ивану так хочется найти корень. У Федора Михайловича за плечами опыт, с ним больше шансов на удачливые поиски. Но с появлением Алексея надежд на такую компанию мало, правильнее считать — нет совсем.

Иван найдет, не найдет, с ним ничего не случится, он в отпуске, а там — на работу, и хоть небольшая, но твердая зарплата. А для Федора Михайловича корневка — не игра, не развлечение, не поиски приключений, а необходимость, без которой не прожить.

«Служба без гарантийного заработка» — так окрестил его положение Иван.

На семидесятом километре на пути оказался перекат. Вода, волнуясь, с шумом сбегала по галечному ложу. Протяженность переката невелика, но мотор совсем не тянул, да к тому же еще работе винта мешали камни. Чтобы одолеть перекат, все взялись за шесты, весла.

Хороших шестов не было, упирались в каменистое дно палками, кто чем мог. Так не годится — это видели все. Миша первый плюнул с досады на такое занятие и, ступив за борт, побрел к берегу рубить шесты. Принес сырые тяжелые талины. Гнутся, в руках не удержать — скользкие.

Из лодки вылезли Шмаков и Федор Михайлович. Они долго пропадали в чаще и вернулись с двумя ог-

лоблями — как иначе назовешь сырые березовые жердины, которые не каждому под силу и удержать?

— Эти понадежнее будут, — взвешивая в руке жердину, сказал Федор Михайлович. — Не согнутся.

Миша глянул скептически:

— Такими «шестами» тоже не натолкаешься. Хотел бы я посмотреть, какими вы будете после одного переката.

Перегруженная лодка еле-еле подвигалась вперед. Когда за перекатом снова открылся чистый спокойный плес, Алексей включил мотор, и лодка пошла довольно ходко.

К семьдесят четвертому километру подошли вечером. Солнце садилось за красновато-серую муть, предвещающая дождливую погоду.

Семьдесят четвертый километр — это давно покинутый леспромхозовский поселок. Бревенчатые бараки обрушились, среди стен успели вымахать березы много выше, чем были когда-то крыши. Из оставшихся наиболее крепких бревен срублена небольшая охотничья избушка.

Покинутые людьми селения представляют грустную картину. Не радовало глаз и это место. В начале тридцатых годов привезли сюда вербованных, раскулаченных, кому пришлось оставить насиженные места, дали им в руки топоры, пилы и сказали: валите лес, стройте себе жилье, работайте. И люди стали валить лес. Когда весь кедр, ель, лиственница, пихта вблизи были выбраны, они покинули этот поселок. Они ненавидели тайгу, для них она была врагом, и они сводили ее топором, огнем, как и должно поступать с врагом. После нас хоть трава не расти — вот как они относились к тайге.

Однако после их ухода выросли и травы, и березки проклюнулись на голом месте, дружно заселили пустошь, а когда обрушились и сгнили крыши бараков, березки поселились и внутри, под защитой четырех стен. Природа сама рубцевала нанесенные ей раны, но вместо кедра и пихты поднимались леса, не имеющие той цены, которую имели сведенные: пустоши заселялись березой и осиной.

Ночь гасила на северо-западе последние отблески

зари. Лишь узенькая красноватая полоска разделяла черную землю и придвинувшееся к ней темное небо.

Дождь, начавшийся ночью, превратился в ливень. Канихеца вспухала от воды на глазах, на ее мутной поверхности лопались и вновь возникали пузыри — признак, что дождю скорого конца не жди. Дождевые капли сухо шелкали в маленькое оконце, шумела деревянная крыша, шумела листва, перекрывая все другие лесные звуки.

В такой день ничего не остается, как «травить» — вести нескончаемые разговоры за кружкой обжигающего чая.

Алексей старался вовсю: в печурке горел огонь, котелок с чаем не успевал опорожниться, как снова наполненный стоял на плите.

— Пал Тимофеич, вам подлить?

Павел Тимофеевич и Федор Михайлович — старые таежники — умели попить чайку, посмаковать; глядя на них, завидно, почему сам не в состоянии одолеть еще кружечку. А тут еще, несмотря на дождь, Алексей принес к чаю полкотелка матово-синей голубики — до нее рукой подать, сразу за бараками синём-синё. Чай с голубикой кисленький, вкусный. Как не пить? «Старшинки» вспотели, покраснелись, но пьют и ведут при этом неторопливый разговор о корневке.

В молодости Павел Тимофеевич корневал с китайцами. В его обязанности входила охрана артели от нападения хунхузов — китайских грабителей, проникавших на русскую территорию вслед за корневщиками. Граница в то время почти не охранялась, перейти ее не составляло труда. Охотясь за своими земляками, хунхузы, однако, остерегались трогать русских промысловиков. Китайцы-корневщики знали это и старались залучить в свою артель русского. От китайцев и научился Павел Тимофеевич корневке. Было это в Приморье, на восточных отрогах Сихотэ-Алиня, в первые годы советской власти. Всего-то и науки было — один сезон.

— И долго пришлось учиться, Пал Тимофеич? — это спрашивает Алексей. Он глядит старшему чуть ли не в рот, готовый и слушать, и тут же сорваться с места,

чтобы чем-то услужить. — Трудно было? К примеру, человек никогда этого дела в глаза не видел. Осилит?

— А чего там? Ежели с головой, а не чурка на плечах, почему не осилить? Главное дело, тайгу понимать надо, чтобы, значит, не закружить. Вдарился, скажем, в таком направлении, ну и держи.

— Ну, это понятно, Пал Тимофеич. А сам промысел какие секреты имеет? — торопил Алексей.

— Промысел что? Ерунда. Нашел корень, выкопал, да и вся недолга. Я сам попервоначально думал — секреты есть, а потом присмотрелся — какие там секреты! Чертовщины всякой накрутили вокруг этого корня, вроде колдовства и, по-моему, не без умысла: чтобы, значит, других отпугнуть, кто этого дела еще не понимает. Конечно, корень знать надо, это верно, определять, в каких местах он держится, в каких нет, чтобы попусту ноги не бить: тайга-то не меряна, всю не исходишь — жизни не хватит.

Алексей кивает: понятно, мол, дальше давай.

Потом разговор перекинулся на то, что корня становится меньше из-за частых лесных пожаров, после которых женьшень гибнет.

— Пожары что? Пожары и раньше были, — возразил Павел Тимофеевич. — Другое отношение. Раньше корневищник найдет женьшень, так пока не намолятся всем богам, пальцем его боится тронуть.

— А что, были у корневищников свои молитвы? — перебил его Иван. — Может, помните?

— Черт их знает, по-своему лопотали. Примерно так: «Великий дух, не уходи. Я пришел к тебе один с чистым сердцем и душой, освободившейся от греха и злых умыслов. Не уходи...» Они, видишь ли, считали, что злему человеку корень не дастся в руки. По их поверью выходило, что корень может принять любое обличье. Увидел ты, скажем, в лесу зверя, птицу, растение или даже камень, и этот предмет исчез на глазах бесследно, считай, что это был женьшень. Надо молиться, каяться в грехах, и на следующий год приходи на это место — найдешь корень. А если ты нечестный человек, лучше не появляйся — задерет тигр. У них на этот счет рассказов — не переслушаешь.

Но дело, конечно, не в молитвах, в них я никогда

не верил. Все это от темноты, невежества ихнего. А вот что закон они соблюдали, так это да. Маленький корень он не выкопает. Нашел, заметил место, обтыкал его колышками, и пусть себе растет. Никто другой уже не тронет. Идет по тайге и другого предупреждает — где, что и как. Знаки оставляли. «Хао-шу-хуа» назывались: сюда не ходи, тут ничего нет, здесь опасно, тут поблизости худые люди, фанза близко-далеко. То веточку особым образом завьет, то зарубку сделает, то кусочек моху заложит в развилку. Другой в это место попал, идет, присматривается, сам знаки оставляет, и получалось, что люди вроде бы руку помощи друг другу протягивали.

Нашел корни, выкопал, каждое семечко аккуратненько посадит, чтобы на этом месте другие корни в рост шли. Вот как делали. Потому что если он корневище, то другого занятия у него уже не было. Это его хлеб. Не станет заботиться, чем жить будет? Может, поэтому и мы сейчас по этим местам корни находим. Ведь новых мест почти нет, все по затескам ходить приходится. А ну не будь их, как бы знали, где искать? Всю тайгу не облазишь. Теперь иначе: нашел, выкопал, и с концом. Другой даже зернышки унесет...

— Отчего же люди так поступают, от жадности?

— А кто его знает, — уклончиво ответил Павел Тимофеевич. — То ли такой характер у них беззаботный, то ли далеко не заглядывают: день прожил, и ладно, а что завтра — увидим...

— А не кажется ли вам, что дело здесь в другом — в экономике? На женьшене сейчас не прожить, это промысел на один-два месяца в году. Отсюда к нему так и относятся.

— Нет, скорее здесь все же дело в характере. Китайцы — народ суеверный, чего только они вокруг этого женьшеня не накрутили. А наш брат ни раньше, ни теперь ни бога, ни черта не признавал, так чего там перед какой-то травкой преклоняться станет: нашел — вырвал, да и ходу...

«Старшинки» попили чаю, поболтали еще о том о сем и полезли на чердак отсыпаться.

Иван размышлял над словами Павла Тимофеевича. Видимо, доля правды в его словах была, иначе зачем

бы в инструкции так строго обязывали корневщиков придерживаться сроков промысла и высаживать зерна женьшеня там, где они найдены. Нет дыма без огня. Не будь нарушений, не было бы и этого пункта. Районы распространения женьшеня сокращаются очень быстро, и это нельзя оценивать только как следствие небрежного отношения сборщиков корня к первой обязанности — посеву семян. Причина лежит также и в том, что человек заселяет дикий в прошлом край, распахивает земли, вырубает леса, и условия для произрастания привередливого растения становятся менее подходящими.

В. К. Арсеньев в своей статье о женьшене указывает северную границу его распространения — река Анюй, хребет Хехцир. Но сейчас уже никому и в голову не придет искать корень вблизи Хабаровска. Правда, поговаривают, что есть на Хехцире кое у кого из старых промысловиков «плантации» корня. Но кто и когда их видел или находил эти плантации? Нынче ищут корень только южнее Бикина. Когда Иван сказал про это, Миша подверг его слова сомнению:

— Почему? На Матае тоже есть корень. Калядины в прошлом году килограмм сдали.

— А ты видел? — с горячностью бросился в спор Володька. — Я там по всему Матаю прошел, ни черта не нашел: хоть бы вот такой — на смех! Все говорят: «Калядины, Калядины», а по-моему, все это туфта.

— Если хотите знать, так и я там в прошлом году месяц на корневке потерял, — доверительно сообщил Миша. — Зря проходил, но что Калядины нашли, так это точно, головой ручаюсь.

— Э-э, друг, так ты уже опытный корневщик, а молчал!

— Да что толку: месяц задарма проходил, а корня в глаза не видел. Спасибо, Федор Михалыч перед отъездом показал, а то и не знал бы, каков он есть. Так вот, первым нашел там корень не Калядин, а мастер лесоучастка Хорошко. Шел по тракторному следу, видит, какой-то странный цветок с красными ягодами. Женьшень это или что другое, он об этом тогда вовсе и не думал: сорвал стебель с листьями и ягодами и принес в бригаду показать. Авось кто знает. Калядин, как

увидел, смял стебель вместе с ягодами и в костер бросил. «Хреновина, говорит, а не женьшень. Откуда тут ему быть? Дикий перец».

Хорошко сначала не докумекал и спрашивает: «Зачем ты это сделал?» — «А что ты, ребенок? Только людей будешь булгачить».

На другой день Калядин заходит к Хорошко будто по делу, но с выпивоном и, когда поднагрузились, начал выпрашивать, где тот вчера ходил да откуда шел? Тот рассказал: возвращался, мол, по волоку, увидел цветок... Словом, все, что тому требовалось, ничего не утаил. После этого у Калядина к утру болезнь: и сам — ни повернуться, ни вздохнуть, и трактор разладился, и вообще все прочее. Только все на работу, а он за котомку — и в лес. Ходил до вечера, излазил все вдоль и поперек, а корня не нашел.

Тогда он снова к Хорошко, теперь уж напрямик: «Где нашел цветок?» — «А и теперь еще будешь говорить, что это перец?» А тот ему: брось, мол, дуться! Не мог же я тебе при всех сказать, что это женьшень. На завтра бы все в лес кинулись, кто работать стал бы? Покажи, где нашел, вместе искать станем.

Хорошко еще во время выпивки смекнул, что это за «перец», утречком раненько пошел на волок и выдернул корень, как морковку. Большой корень, граммов на двести пятьдесят. Достает его и показывает: «Видал? Так что искать больше уже нечего». Калядин аж затрясся: «Эх ты, такой корень загубил! Разве так копают? Теперь у тебя его никто не возьмет, потому что все мочки оборваны. Отдай мне!» А Хорошко и отвечает: «Может, я тебе и отдал бы его, если б ты не думал меня надуть, а по-честному. А теперь, хрена. Я его и сам употребить сумею. Куплю пол-литру спирту, настойку буду пить. Не повредит».

Миша рассказывает с такими подробностями, словно сам был всему свидетелем. Он вообще рассказывать мастер, а тут собственное, пережитое.

— Слово за слово, улестил его Калядин, заставил показать место, где тот корень произрастал. Откуда Хорошко мог знать, что там, где один корень, и другие поблизости могут быть. Тем более корень старый, ему лет двести — не меньше. Каждый год семена давал, яс-

но, что птицы могли их повсюду рассеять. Договорились так: искать вместе, и если что найдут, — пополам. Калядин поводил Хорошко вокруг для отвода глаз и на этом поиски прекратил: ничего, мол, тут больше нет, и искать нечего. Корень-одиночка. К тому же и времени свободного не было: работали, за день и без того намаются, тут не до поисков.

Нет так нет. Хорошко на этом успокоился, а Калядин в тот же день дал телеграмму отцу: «Выезжай, есть фарг». Через денька три тот заявляется. Старичок ушлый, на этом корне зубы проел. С утра котомку на плечи, палочку в руки — и в лес. Вечером возвращается. Походил так недельку и тридцать шесть корней выкопал.

— Ну, а Хорошко?

— Что Хорошко? Даже копейки ему не дали; ты, мол, не искал. Когда мы приехали, про эту историю узнали, пошли к нему: покажи, где? «Поздно, — говорит. — Калядины все взяли». «Тебя-то, — спрашиваю, — в пай приняли?» — «Где там, — отвечает, — в пай... Попросил дровишек на тракторе подкинуть, так он и то за два хлыста пол-литру сорвал». Потом он нас на это место водил, показал. Мы все ямки нашли, всю сопку перевернули, а корня больше не было. Они все на одном гектаре росли. То ли плантация чья-то была, то ли сами по себе насеялись...

— Повезло людям, — вздохнул Алексей. — Килограмм — шутка сказать. Почему он, рублей по двести-триста?

— Хватай выше, — пояснил Шмаков. — Хороший корень, экстра, — до пяти рублей за грамм, но обычно платят по рублю, по два. Заготовители боятся переплатить, плохо понимают, каким сортом его принять.

— Новыми? — ахнул Алексей.

— Уже который год новые деньги в ходу, а ты все на старые меришь, что ли?

— Пускай им дураки по два сдают! — сказал Володька. — Ехать для этого в Иман, в заготконтору, когда в Хабаровске всегда по три-четыре с руками отрвут, да еще и спасибо скажут. С Кавказа, со Средней Азии, с Колымы люди приезжают, с деньгами, только дай...

— Это же две-три тыщи! — подсчитав, удивился Алексей. — Как с куста. Какому-нибудь работяге надо почти два года работать, и то таких денег не увидит. Вот это фарт!

— Хреновина, а не фарт! — сердито сказал Миша. — Обвел человека вокруг пальца, и все.

— А что ж ему, делиться? Или за здорово живешь отдать? Ведь этот же Хорошко не отдал своего корня, а почему тот должен?

— Не отдал и правильно сделал. Зато показал место. Могли не половину, а хотя бы четвертую часть за это выделить, если по справедливости.

— Ну уж, дудки! — глаза Алексея сверкнули, как у мартовского кота. — Меня бы черта с два кто обвел, а раз он такой сапог, так ему и надо — сам виноват! Пусть не зевает...

— Бросьте спорить, — сказал Шмаков. — Тут не то что делиться, ни один корневищик тебе затеску не покажет. Потому что это все равно, как привести тебя в лес и сказать: вот тут, мол, я потерял кошелек с деньгами, поищи. Прошляпил ваш Хорошко...

— А я что говорю: сам виноват! — горячо поддержал Шмакова Алексей.

— Старики, которые корень знают, чтобы кто-нибудь в деревню листья принес — боже упаси. Сыну своему не покажут, не то что чужому, — продолжал Шмаков. — Когда ехали, слышали: мол, городских в тайгу пускать не надо. Это молодежь так рассуждает, а что вы хотите от старых женьшенщиков? Чтобы он тебя в пай взял? Ого! — Шмаков рассмеялся. — Корень — это капитал!

Иван вышел за порог. Дождь поливал вовсю. Вода пузырилась, прибывала, несла шапки желтой пены, прямо на глазах топила кустарники перед избушкой. Лодка, вытащенная вечером на сухое, плавала среди затопленного таволожника. Если б не привязали, уже давно бы унесло водой.

Не слышно было птичьего писку, все живое попряталось от дождя, куда могло. Шум леса мешался с шорохом капли о листву. Ветер налетал порывами, ершил воду, задирали тальники, раскачивал высокие мохнатые

кедры, уцелевшие за рекой, среди пойменного смешанного леса.

Спрятавшись за стенку, Иван смотрел, как пелена ко- сого дождя то редееет, то сгущается, словно бы волны пробегают по огромному дымчатому занавесу. Низкие клубы тумана стлались над самой землей, едва не задевая за вершины лиственниц. Казалось, что непогоде не будет ни конца, ни краю, но в природе уже свершился едва заметный надлом: то ли ветер срывался из последних сил, то ли направление его изменилось, только чувствовалось необъяснимое облегчение. В деревне наверняка горланили бы сейчас петухи, оповещая о скорой перемене.

Чутье не обмануло Ивана. После обеда распогодилось, среди клубящихся туч проглянули синие латки чистого неба. Кустарники, травы, деревья враз повеселели.

На чердаке зашевелились «старшинки», дали команду собираться. Решено было часть продуктов оставить в избушке, чтобы не таскать по тайге туда-обратно лишнее. Через неделю-полторы, когда придет время идти на Рябов Ключ, можно будет забрать остальное.

— Ну, ребята, в случае заведусь — извиняйте, — попросил Павел Тимофеевич, когда все надели на спину котомки. — Я ведь контуженный, в момент могу сорваться...

В ста метрах от берега речушки начиналась марь — заболоченная равнина, покрытая сфагновыми мхами, осокой, вереском, багульником, кустарниковой березкой и лиственничником — редким и хилым. Деревья обвешаны бледно-зелеными гирляндами лишайников, свисающими, как сивые бороды. Молоденькие лиственнички стояли седые от дождевых капель, державшихся в сердцевине каждого пучка хвоинок, коротких, мягких, собранных в небольшие розеточки. При малейшем прикосновении, порыве ветра с деревьев срывались каскады брызг. Мхи, опоенные влагой, глухо чавкали под ногами. Среди ерника — зарослей березки Миддендорфа, мало похожей на дерево и годной разве на веники, полно спелой голубики. Рясная, матово-синяя от налета влаги, ягода виснет на кустиках и прямо-таки просится в рот.

— Эх, объедение, — смакуя, жмурится Миша, от-

правляя ее на ходу в рот горстями. — По такой запросто наберу ведер пять в день... Э-э, да тут уже ходил «сборщик», — он указал на темный след, проложенный среди росистых трав и кустарников. — Михайло, мой тезка, прошел.

Вмятины от медвежьих лап идут по тропе, потом сворачивают на голубичник, синеющий поодаль. Встреча с медведем никого не тревожит: у Володьки за плечами карабин, к тому же медведь сейчас сыт, а путники все здоровые мужики и, доведись, — без оружия свяжут медведя. Павел Тимофеевич, глядя на такое обилие ягод, сокрушается, что дал маху, не приехал сюда раньше. Кто мог думать, что она тут уродится?

Марь. Однообразное редколесье, равнина. Она одинакова, куда ни глянь. Только впереди за нею поднимаются темные сопки, окутанные по верху клубами серого, как дым, тумана. Как свежо, как волнующе пахнет багульник!

Иван жадно и глубоко дышит, и в душе растет, поднимается необъяснимое чувство радости, ощущения свободы, полноты жизни. Багульник для него не просто невзрачный кустарничек, а первый вестник таежных просторов. Он, как чайки, оповещающие истосковавшегося моряка о близком берегу. Иван, возвращаясь из походов, прятал веточки багульника по карманам, в записную книжку, чтобы потом, неожиданно наткнувшись, вдохнуть его запах. Сразу будто живой струей повеет на него среди угнетающей городской сутолоки, снимет грусть. Маленький рыжеватый кустарничек с узкими, как ученические перья, листочками...

Впереди шагает Федор Михайлович. С мешком за плечами, в матерчатой шапочке, такой же, как у Володьки, в кирзовых сапогах, он идет неторопко, грузно, лишь изредка взглядывая на компас. Тропы здесь проложены неизвестно кем — то ли людьми, то ли зверем, — неизвестно куда. Такие тропы чаще всего оставляют все-таки звери.

— Изюбры бодались, — показал на утлоку Федор Михайлович. — Уже молодые рога пробуют, через полтора месяца реветь начнут.

Трава, мох вбиты в рыхлый торфяник копытами. Изюбры осторожны, увидеть их удастся редко, но следы по-

всюду. Если исчислять путь по карте, то расстояние до места корневки невелико, километров восемь-десять. На всякие извилины необходимо прикинуть еще третью часть, но путники идут уже два часа, а Салды — притока Канихезы, которая должна быть на полдороге, — все еще нет.

Проваливаясь по колени в топкий мох, Иван идет, глядя только под ноги, чтобы след в след, иначе оступиться, а каждый толчок отзывается болью в пояснице. Перед ним поочередно мелькают ноги Миши, обутого в рабочие ботинки. В них легче, чем в сапогах, и Иван немного ему завидует: его молодости, здоровью. Лямки от мешка нестерпимо режут плечи, во рту становится горько, сухо, и, кажется, нет больше сил. «Все это от непривычки, — утешает он себя, — от городской сидячей жизни».

— Перекур! — раздается команда Федора Михайловича.

Он приноравливает привалы к какой-нибудь валежине, где можно присесть, сделать передышку, освободиться от мешка. «Молодец, мужик!» — мысленно благодарит его Иван, и оттого, что не он один устал, а все, ему становится немного легче.

К Салде вышли неожиданно: показался хилый ельничек, затопленный разливом. К речушке не подступиться.

— В прошлом году возвращались, — рассказывает Володька, — вот так же дожди прихватили. Чуть не до самой избушки по пояс в воде брели. Всю марь залило.

Можно в это поверить. Всего одну ночь дождь поливал, и то ног не вытащишь.

Среди кустарника и валежника ползают и плавают змеи — темные гадючки и рыжеватые щитомордники, укусы которых также ядовиты и очень опасны. Они плывут, извиваясь всем телом и выставив из воды головку, похожую издали на сухой сучок. Федор Михайлович брезгливо отбрасывает их с дороги палкой. Оступаясь на осклизлых валежинах, он частенько спотыкается и уже вымок по пояс. На пути то и дело попадаются глубокие ключи, впадающие в Салду. С тяжелой котомкой их не перепрыгнуть, каждый раз надо искать какую-нибудь кладку — упавшую лесину. Вечереет, а восьмикиломет-

ровому пути нет конца, хотя уже шестой час, как корневщики вышли из зимовья.

Вокруг темный от сырости лес: прелый ельник, ольховник, попеременно с молодым ясенем и амурской сиренью, которую еще называют трескуном. И как везде по сырым ключам, очень много красноталу. Все мокрое, осклизлое, за что ни возьмись. Шум воды слева ясно говорит, что река рядом.

Мокрые мешки на взмокшей спине кажутся вдвое тяжелей, а тут еще с сумерками ожили комары. Уже стемнело, когда Федор Михайлович дал команду остановиться.

— Будем ночевать. Все равно сегодня не добратся.

У Ивана с Мишей общий накомарник. Пока Иван рубил палочки и ставил его, Миша нарвал охапку папоротников на подстилку. Конечно, сырая трава никуда не годится, но ничего другого нет, а драть корье просто уж не под силу.

Алексей облюбовал стоячий пенёк. Кедр когда-то обломило бурей, ствол на земле превратился в труху, а трехметровый пенёк стоит. Алексей скалывает с него крупную щепу. После дождя только с такой стоячей сушины и нарубишь подходящих дров, иначе костра не развести. Едва запыхал костер, как «старшинки» сразу подсели сушиться.

— Что варить будем? — спросил Миша.

— Вари, что сумеешь, а я сегодня не могу. Устал, — виновато признался Иван, уползая под накомарник.

Трудно привыкать городскому человеку к таежным странствиям. В первые дни все болит: поясница, плечи, руки, ноги. Не надо ни ужина, ни сухой подстилки, ни переодевания, только бы прилечь.

Отблески пламени освещают бязевый накомарник. Темень сгустилась, подступила к самому костру. В красноватых тревожных отсветах видны стволы ближних деревьев, отдельные ветви. Они словно придвигаются поближе к костру, отгораживая его от черного притихшего леса. Искры взлетают на рыжих космах пламени куда-то вверх. Сквозь маленькое сетчатое оконце накомарника Ивану видно Павла Тимофеевича. Зажав зубами трубку и выдвинув вперед тяжелый подбородок, он ведет

с Федором Михайловичем обстоятельный разговор, словно решает важный вопрос:

— ...Отловил их по большой воде штук восемьсот, привожу, а он, шельма, не примат, — долетают до Ивана его слова. — Как так, говорю, разве могу я ждать, пока ты указания получишь? Змею надо накормить, иначе она подохнет. Какой ни есть, а уход, стало быть, нужен. А они вздумали канитель тянуть: мол, были указания одни, а теперь другие. Что ж, мой труд, значит, собаке под хвост?

— В суд на них надо было тебе сразу, — замечает Федор Михайлович. Он сидит, протянув к огню руки и отвернув лицо.

— А что мне с ними иначе! Заставили оплатить. Ведь как получилось, — спешит разъяснить Павел Тимофеевич, видно опасаясь, чтобы его не приняли за какого сутягу. — Если бы я сам по себе поехал их ловить и привез, другое бы дело, а то ж лично с начальником заготконторы договорился, все было честь честью, две недели потратил, и вдруг на тебе — не нужно...

— Чем ты их берешь? — перебил Федор Михайлович.

— Змею-то? Ерунда. Делаю деревянные клешши, за шею и в ящик. Обычно выезжаю в мае, по большой воде, когда змея на куст лезет. На голом кусте ее хорошо видать. Ей много не надо: гадюке одно куриное яйцо на неделю. Которым птаху какую подбросишь или мыша, лягушку. Все жрут. Поели, совьются в клубок и спят. А куда их потом заготконтора деват, не знаю. Говорят, будто змеиный яд на лекарство идет. От ревматизма, что ли.

— С этими заготовителями завсегда канитель. Нонче ко мне привязались: сдай панты — хоть умри! Лицензию, дескать, давали, обязан сдать. Я не отказываюсь — убил изюбра. А панты самому нужны. Участковый приходил, выпрашивал, не продал ли? Кто-то ему «стукнул», что я их на базар сплавил. А что я не имею права сам пантами попользоваться? Не такой человек? Сам знаешь, как на промысле: и мокнешь, и мерзнешь, и голодаешь, и какая только холера к тебе не вяжется. А на курорт тебя никто не пошлет: ты не работаешь...

— Верно, верно, — кивает Павел Тимофеевич. —

Сейчас, если ты от промхоза, так хоть считаются: и больничные, если захворал, и пенсия тебе. А до этого — промыслом живешь, так ты вроде тунеядца — работать не хочешь.

— Вот я ему и толкую: лицензию оплатил, мясо сдал — квитанцию — пожалуйста, а панты самому нужны — заболел, и все тут. Хошь, справку от врача покажу? Нет, мол, ты мне ничего не показывай, а сдай панты, иначе карабин отберем. Нет, говорю. Не ты мне выдавал, не ты и отбирать будешь. Крутили, вертели, куда только не таскали, а я на своем все же настоял. У них, вишь, лицензий много роздали, а зверя нонче не взяли, пантовка плохая была, план не выполнили, вот они на меня и взъелись, давай прижимать. И кто ты, и откуда, и чем ты дышишь? Вы, говорю, это бросьте, вот у меня справка, что я в гражданскую партизанил, гамовский мятеж подавлял, с японцами боролся. Другой на моем месте вам бы уже всю шею переел, чтобы персональную пенсию как бывшему партизану дали, а я с вас еще ничего не требую, сам себя кормлю, и за это спасибо скажите...

— С чего пошло-то? Из соседей, наверно, кто «стукнул»?

— Черт его знает. Да мало ли кто! Есть еще такие: сам не возьмет — не умеет и на другого зуб точит от зависти. Думают, в тайгу только пошел и все тебе за дарма.

— Это уж завсегда...

В воде раздался всплеск. Кто-то не то полез купаться, не то свалился в речку по неосторожности.

— Эй, ну как там водичка?

— Хо-о-роша... Ух!

В накомарник заполз Миша, подоткнул за собой полу.

— Собаки!купаются и хоть бы что. Здоровые, черти.

— Ты знаешь, кусается кто-то, — сказал Иван. — Нигде ни щелочки, а лицо, шею жжет, как огнем. Мокрец, что ли?

— Он самый. Вместо окошечка — сетка, вот он через нее и лезет. Зашить придется.

— Не может быть. Сетка густая, не пролезть. Помоему, мы его вместе с травой натащили.

— Может, и так. Дьявол с ним. Не обращай внимания. Утром разберемся. Слышал, — кивнул он в сторону костра, — как его с пантами прижали? Такого прижмешь. Наверняка сплавил их на базар.

— А что, разве Федор Михайлович не имел права оставить их себе?

— Лицензия дает право только на мясо, а панты промысловик обязан сдать по твердой цене. Ох и ушлый мужик! Не зря он и за город держится. Там его каждая собака знает. Чуть что — к нему. Панты, медвежье сало, желчь, корень. Попробовал бы он так в поселке. Там человек на виду у всех, а тут не ухватишь. Все, что ни добыл, всегда с выгодой продать можно.

— А я еще подумал: промысловик, а в породе, чуть ли не в центре живет. Теперь понимаю...

Над речной поймой стлался редкий, как кисея, туман. Деревья, кустарники, травы стояли седые от росы. Над водой поднимался парок. Солнце всходило где-то вдалеке, а сюда, в долину, еще не заглянуло, лишь чуть подрумянило высокие кучевые чистенькие облака, похожие на комочки ваты, плотно усыпавшие голубой простор неба. Светом пронизан туман, свет льется сверху, обволакивая землю, растекается по лесной чаще.

За ночь воды в реке поубавилось. Еще вечером она была под обрывом у палаток, а сейчас отступила, оставив после себя заиленные вейники, папоротники и трубочки зимующего хвоща.

Алексей уже хлопотал у костра, складывая в кучу вчерашние головни: они загораются сразу, а уж потом подкладывая какие попало. Неподалеку от табора стоял на плавине Володька и удил гольянов.

— Ну что, поднимаемся? — донесся голос из палатки.

— Лежите еще, Пал Тимофеич! — откликнулся Алексей. — Чай сварганю, тогда и встанете.

В непросохшей за ночь одежде Ивана сразу проняла дрожь. Он подошел к огню, протянул над ним руки. Алексей снизу вверх искоса глянул на него: «Ишь, к чужому огоньку всяк тянется!» — красноречиво говорил его взгляд. Ивану стало неловко, он поднял топор и стал рубить щепу с кедрового пня. Пень был толстый, вдвоем не обхватить, два дня руби — не перерубишь. Вот те-

перь все по закону: в костре горят и его, Ивана, дрова. Но за работой он и без огня разогрелся.

На розовой ранней лысине Алексея выступили бисеринки пота от усердия. А шея крепкая, красная, тугая, совсем без морщин. По сути, он еще довольно молод. Что у него, что у Володьки одинаково быстрые, нетерпеливые, жадные до работы руки. Иван обратил на это внимание. Работа у них спорится, горит, но глядишь на них, и радости почему-то нет. А хорошая работа, как танец, должна быть красивой. Иван наблюдал не раз за работой мастеров-виртуозов и хорошо это знал.

Володька приладил к огню сковородку с гольянами и начал развешивать вокруг одежду, портянки свои и Федора Михайловича. К огню теперь не подступиться, но ни его, ни Алексея это не смущает. Ивану становится понятно, почему Федор Михайлович таскает за собой в тайгу Володьку, терпит его грубости. Он моложе — раньше встанет, все сделает. Только поэтому. Оба они это знают, а об уважении между ними и речи нет.

К половине седьмого все позавтракали, вскинули за спину мешки и гуськом подались в лес. Туман растаял, обратившись в холодную обильную росу. На траве, кустах столько воды, что они никнут к земле под ее тяжестью. Хоть черпай ладошками и пей. С первых же шагов все вымокли до нитки, хотя и оббивали перед собой траву палками. Вода холодит, одежда липнет к телу. Ужасно неприятное ощущение.

Не прошли путники и двухсот метров, как впереди среди высокого вейника показался барак, завалившийся на один бок.

— Немного и не дошли вчера, — сказал Павел Тимофеевич и пояснил: — Две корейские семьи тут жили. Бывало, на охоту едешь, всегда у них останавливаешься. Огородничали, чумизу, лобу сеяли. Говорят, будто у них где-то плантация корня осталась. Один старик года три здесь крутился, все искал, да так и не нашел. То ли кто другой успел попользоваться, то ли приметы у него неточные были...

— Не врут?

— Кто ж его знает, болтают.

— Вам же эти места хорошо знакомы, взяли бы и поискали.

— Как не искать? Искал, да без толку. Не должно быть, чтобы они далеко от дому плантацию держали, где-то тут, а где? — Павел Тимофеевич развел руками: — Вот уж кому подфартит найти — озолотится человек. Да, — вздохнул он, — жили люди, а сейчас, вишь, все лесом поросло.

Он скинул котомку с плеч, шагнул к бараку.

— Один момент, ребята. Лет пять назад я тут топор оставлял. Добрый еще топор был, его я возле печки в стену воткнул. Должен быть, если кто не забрал.

Пригнувшись, он шагнул в барак, пошарил там, но вернулся с пустыми руками.

— Нету. Приглянулся кому-то. Вот народ. А по-моему, не тобой положено — не трожь. — Он еще долго кряхтел и сожалел: — Ловкий топорик был, вроде колунчика, теперь таких не делают! В самый бы раз пригодился. Надо же...

Долина Салды сузилась, с двух сторон к ней придвинулись сопки, и речка здесь напоминала обычный горный ручей: шумливый на перекатах, неглубокий. Свалившиеся поперек русла деревья перекрывали ее от одного берега до другого. Травы поднимались буйные — загляденье! Вейник, дудник даурский, чемерица и какалия — самая высокая из трав, с тонким стеблем и треугольными листьями, формой напоминающими широкое лезвие копья, большими внизу и меньшими к верхушке — соцветию.

— Мать-и-мачеха! — сорвав лист какалии, пояснил Федор Михайлович и протянул его Ивану: человек городской, должен интересоваться. — Вот приложи к щеке: одна сторона теплая — мать, другая холодная — мачеха. Всегда так, в любую погоду.

Среди кустарников попадалась лесная смородина с бледно-розовыми гроздьями ягод, созревающими к осени. Если птицы не расклюют, ягоды висят и зимой, усыхая от морозов.

Рядом с обычной черемухой, развесистой, рослой, которую привычно видеть в Сибири в палисадниках и у воды, росла и черемуха Маака с желтой шелушащейся, как у луковицы, корой и мелкими черными ягодами. Народ зовет ее «медвежьей», потому что зверь любит ее горькие ягоды и не пройдет мимо, чтобы не забрать на

верхушку. Там, лакомясь, он заламывает ветки, и дерево выглядит после этого так, словно кто-то устраивал на нем гнездо, да бросил. На такие штуки пускаются не всякие медведи, а бело грудые — гималайские.

На старых ильмах густо росли древесные грибы — ильмовики, похожие по виду на грузди, такие же пластинчатые, сочные, розовато-желтые. Они лепились на стволе шапками. Федор Михайлович набрал их в подол гимнастерки.

— Берите, хорошие грибы, — сказал он остальным. — Идти уже недалеко, там нажарим.

Но никто не пожелал связывать себе руки грибами, когда и так не знаешь, чем отбиваться от комаров и мошки.

На пути попался кедр, толстый и ровный, как колонна, уходящая ввысь, с затеской. Кто-то снял кору, затеска за десятилетия заплыла по краям, и казалось, что на дереве кем-то вырублено углубление в виде креста.

— Похоронили кого-нибудь? — поинтересовался Иван.

— А, ерунда! Кто-то на «конверт» снял кору. Видно, корень нес и решил переложить в новую упаковку. Наш, русский, сымал, — ответил Павел Тимофеевич.

— Откуда знаете!

— А как же! У китайцев, у тех «задиры» прямоугольные, ровные. Корейцы симают кору снизу вверх, клином. А это русская. Когда я в первый раз здесь появился, она уже была.

— Это сколько же ей лет?

— Считай, полста верных, а может, поболее...

Салду переходили по громадному кедру, сломанному недавней бурей. Рухнул великанище, повалив молодняк и даже взрослую березу, и усеял весь левый берег незрелыми смолистыми шишками. Хвоя еще не успела пожелтеть, держалась крепко, зная, произошло это с неделю назад.

Разгорелся спор, где устраивать табор: на берегу или в лесу поглубже, возле ключика. Федор Михайлович был за то, чтобы на берегу. Здесь проходит просека, рядом видна крутобокая сопка, место открытое, приметное, вода и дрова рядом, здесь будет легче сыскать табор при возвращении.

Павел Тимофеевич рвался на корневку и утверждал, что на берегу табор устраивать нельзя: начнись дожди — вода выживет, а там, у ключика, все это нипочем и, главное, на корневку ходить близко. Скрепя сердце Федор Михайлович согласился и пошел дальше, ворча под нос.

Ключик оказался в полукилометре и среди такой чащобы, что видно было только небо, да и то, если заде-решь голову кверху.

— Эх, — махнул досадливо рукой Федор Михайлович. — Только ноги зря били. Говорил же, что там лучше.

— Да чем лучше, чего не хватат?

— Старый, всю жизнь по тайге лазаешь, а не понимаешь: люди в первый раз сюда пришли, разве найдут в таком месте табор? Заблудятся, где их искать станешь?

— Да где тут блудить?

— Где, где. Забыл, как в прошлом году нас от Салды вел? Тоже вроде бы негде...

Шея Павла Тимофеевича наливалась багровой краснотой. Он вскипел, будто взорвался:

— Ну и черт с вами! Из-за кого-то я должен ноги кажен день бить понапрасну. Как хотите! Ставлю палатку, и все! — Скинув с плеч котомку, он стал корить себя, не переставая при этом размахивать руками: — Дурак, не послушал! Говорила старуха: не ходи, большая компания — каждый наперекор все делать будет, изнервничаешься, а проку не будет...

— Хочешь — оставайся! — непреклонно заявил Федор Михайлович. — Дело твое. Тебе-то все равно, а я людей повел, отвечаю, стало быть.

Он решительно повернул назад, за ним гуськом потянулись остальные. Алексей замешкался было, не зная, примкнуть ли к тем, кто уходит, или остаться. Однако, увидев, что Павел Тимофеевич хоть и ворчит, а продевает руки под лямки, подался за остальными.

Из-за крутобокой сопки выглянуло солнце, пронизало радостным светом густую листву, потянулось к земле тонкими пучками лучей, зажигая на травах, хвое, листве, на каждой былинке алмазную россыпь искрящихся брызг. В этот час на открытом месте день давно в разга-

ре, травы обсохли, а сюда, к табору, пробилась лишь первые лучи.

Миша и Иван облюбовали место для накомарника под развесистым тисом. Все деятельно устраивались, ставили пологи, настилали корье, чтобы сырость от земли не проникала под бок и меньше грязи таскалось за ногами в палатки.

Алексей устраивался более капитально: нарубил жердей и сделал настил на полметра от земли, вроде остожья. Он уже завалил его зелеными ветками и готовился натягивать палатку.

— Пал Тимофеич, попробуем, выдержит нас двоих или нет, — пригласил он. Они улеглись на настил и стали раскачиваться, но тут все их сооружение рухнуло. Со смехом они выбрались из-под веток и начали растаскивать их в стороны, чтобы не мешали.

— Снова да ладом! — говорил Павел Тимофеевич. — Пропал весь твой труд понапрасну.

— Нич-че, Пал Тимофеич, я к топору привычен, в момент переделаю. Вы только, Пал Тимофеич, не таитесь от меня, расскажите, как этот корень искать, что с ним делать. Век буду благодарить и детям закажу.

— Да чего там таить! Найдем, сам поймешь все, невелика хитрость. Были бы ноги.

— Может, оно и так, а все-таки, Пал Тимофеич, у вас опыт, сноровка, знаете, как подойти. Это много значит.

Во второй раз Алексей настелил жерди не на колышки, а прямо на землю, потом принес огромный лист коры — ободрал кедр снизу доверху, насколько смог достать топором. Казалось, будь в его силах, он срубил бы для Павла Тимофеевича дом-пятистенник, а не то что поставил палатку. Любо было смотреть, с какой предупредительностью относился он к своему «старшинке». Не то, что Володька. Тот хотя и делал не меньше, но грубил, не раз вступал в спор и, если вынужден был подчиниться Федору Михайловичу, то долго и шумно возмущался.

Шмаков устроился особняком, подвесив свой полог между деревьями. Он не вмешивался в возникавшие перепалки, больше помалкивал, и было видно, что ему все равно — одному ли искать корень и жить в тайге

или с компанией. Смотрел на всех он чуть свысока, с плохо скрытой усмешкой, ни к кому и ни за чем не обращался: все, что нужно в тайге человеку, у него есть.

Покончив с делом, Володька, Шмаков, Федор Михайлович полезли в речку купаться. Ледяная вода казалась им нипочем. Алексей покрутился на берегу в нерешительности, потом тоже разделся. Он входил в воду осторожно, будто по битому стеклу, подрагивая всеми мускулами сильного тела и взвизгивая. Когда стало по пояс, он ухнул и окунулся с головой. И так несколько раз, высоко выпрыгивая при этом из воды.

— Вчера купались, сегодня опять, — завистливо сказал Миша. — Здоровые, черти, — вздохнув, повторил он свое.

— А ты что, хуже? — усмехнулся Иван. — Помнишь, как на Хехцире нас водил? Мы все языки повысовывали, а ты хоть бы что, еще мою котомку нес.

— С ними не равняйся, — вполголоса сказал Миша. — Ты вчера не ужинал, так лег, а я видел: Федор Михайлович панты жрет, режет их, как колбасу, и жрет, а у Шмакова фляга с настойкой женьшеня. Им и ледяная вода нипочем.

— Тебе не дали попробовать?

— Как же, держи карман шире. Этот Шмаков жмот — поискать таких. Слышал же утром, когда ты сахар найти не мог, как он разбухтелся: одному, дескать, лучше, вечно, если компанией, забудут что-нибудь. Сразу от компании отбиваться. Вот посмотришь, отделится, один искать корень станет. Я в человеке эти куркульские замашки за версту чую.

После купания все уселись чаевать. Тут Иван и сам увидел, как Шмаков налил чаю, все приготовил для еды и вдруг полез в свой накомарник пить настойку: через прозрачную ткань все было видно.

Федор Михайлович, тот не таился: достал кусок пантов, отрезал кружок, съел, а остальное опять завернул в газету. Шмаков же чего-то стесняется.

— Думает, у него кто-то просить станет, — буркнул Миша.

— А знаешь, он в прошлом году чуть «дуба» не дал от энцефалита, — сообщил, будто к слову пришлось, Иван. — Он тебе не рассказывал?

— Нет. А что, в самом деле?

— Да. Полгода провалялся, на уколах держали.

— Что ты говоришь! Я бы от одних уколов загнулся.

Почаевав, «старшинки» сразу засобирались, стали торопливо переодеваться, обуваться. Вместе с ними готовились к выходу Володька и Алексей.

— Надо хоть один «вывернуть», почин сделать, — сказал Павел Тимофеевич.

Они ушли налегке, взяв с собой лишь самое необходимое: топор, котелок, чтоб можно было сварить чай, и карабин. Ушли, не сказав и слова, по той тропке, к ключику. Миша, Иван, Шмаков еще посидели, допили чай. Шмаков взглянул на часы: половина двенадцатого. День начинался жаркий, кучевые облака, зародившись над сопками, росли на глазах и, набирая силу, круто лезли в небо.

— Ну что ж, пора и нам! — сказал Шмаков.

— А куда пойдём? — спросил Миша. — Они по своему старому следу, а мы? Ты ведь здесь никогда не ходил.

— У корневщиков такой закон: по следу друг за другом не идти. Они в одну сторону, значит — нам в другую.

Шмаков достал из рюкзака мелкокалиберную винтовку облегченного типа, с обрезанным по самую шейку прикладом, рукавицы из выделанной сохатиной кожи, под фуражку повязал платок. Иван взял котелок, сухари, топор.

— А где твои рукавицы? — спросил Шмаков.

— Зачем? — удивился Иван. — Лето...

— Как же ты будешь заламывать за собой кусты?

— Откуда я мог знать! Никто ничего не говорил...

— Ставь пол-литра, одну, с левой руки, так и быть дам, — смеясь, предложил Миша.

— Спасибо. Попробую обойтись без них.

Неподалеку от табора начиналась крутобокая сопка. Иван лез следом за Шмаковым, цепляясь руками за обомшелые выпирающие камни, за кустарники, за стволы низкорослых дубков, растущих наклонно.

— Вот дубок, — остановившись, чтобы перевести дух, сказал Шмаков и похлопал по корявому стволу. — О таком не споют «Среди долины ровные...»

— Местный, монгольский... — задышливо ответил Иван. — Большой не растет. Двадцать-тридцать сантиметров в толщину и уже с дуплом.

— Все не по-людски, — иронически заметил Миша. — Дуб только на дрова годен, береза и та черная, а не белая, как в приличных лесах. Вон, полюбуйтеесь...

По всему косогору, на рухляке, едва прикрытом слоем перепной, попеременно с дубом росли даурская береза и лиственница.

Путники одолели самый крутой подъем и присели на скале отдохнуть. Сверху открывался вид на Салду и Канхезу. Хотя вода не проглядывалась, реки угадывались по темным пойменным зарослям, узкими полосами обрамлявшим русло и хорошо заметным среди желтоватой мари, раскинувшейся на километры. Лишь у подножия сопок синели густые леса. Тени от кучевых облаков, тугих, как капустные кочаны, испятнали голубые склоны гор. Дали раскрывались, как город через окно из глубины квартиры — в одном лишь направлении. Что делалось вправо, влево, позади, — все скрывала стена темного, душного, густого леса.

— Вот что, — заговорил Шмаков, — пора и за дело. Прежде всего надо вырезать палки, легкие, но надежные, чтобы можно было раздвигать траву, опереться при случае. Лучше всего из орешника. Кору счищать не нужно, чтобы не скользила в руке.

Он начинал обучение с азов, как учат новобранцев в армии. В заключение Шмаков рассказал, что раньше был такой порядок: идешь корневать в первый раз — самый крупный корень должен отдать своему наставнику.

Когда Шмаков отвернулся, Миша хитро подмигнул Ивану: знаем, мол, эти сказки. А вот не хотел! — и показал кукиш.

Раньше, как правило, корнещик, найдя женьшень, корень выкапывал, а семена засеивал. Он знал, что многие семена не взойдут вовсе: у женьшеня слабая всхожесть — процентов шестьдесят-семьдесят, знал, что корень растет медленно, прибывая в год по грамму — полтора, и сам он едва ли воспользуется этими посевами. Но промысел был окутан такой массой всяких предрассудков, что корнещик не мог не выполнять всех запо-

ведей и обрядов. Это было не только суеверием, но и проявлением здравого смысла, заботы о будущем этого промысла, гуманное, человеческое отношение к природе: взял — восполни!

Корневщик засеивал семена, сдирав с ближайшего кедра кусок коры, чтобы завернуть находку, и уходил. Может быть, из десятков семян проросло одно-два, от них, когда растения повзрослели, отсеялись другие рядом. Может быть, какая-нибудь птица склевала привлечшие ее яркие ягоды, а непереваримые семечки извергла неподалеку, и они тоже проросли. Вот почему, найдя старую затеску, «выжиг» тридцати-пятидесятилетней давности, корневщик будет кружить вокруг да около день, два, неделю. Он знает, что где-то поблизости должен быть корень.

— Затески — это капитал, — повторил свое любимое изречение Шмаков. — Найдете — сразу стучите. Спешить не надо, смотрите хорошо.

Он пошел справа, Миша — слева, Иван — между ними посередине. Идут метрах в десяти-пятнадцати друг от друга, но видятся редко и поэтому пересвистываются, чтобы не отбиться в сторону и не потеряться. В такой чаще это немудрено. Какой лес! — поражался Иван, не в силах наглядеться, запомнить все, что видели глаза.

Под пологом гигантских кедров, лип, бархатов, почти смыкающихся в высоте кронами, растет густой непролазный подлесок. Сквозь заросли лещины порой невозможно протиснуться, так часто стоят ее стебли. На ветках наливаются орехи, по три-пять вместе, каждый в зеленой обертке, покрытой колючим ворсом. Стоит прикоснуться, и десятки мельчайших иголочек впиваются в кожу. Как бурундуки ухитряются вылущить орешки из такой «одежки», — диву даешься. Но делают они это мастерски, и к зиме ни одного орешка на земле не остается, кроме пустых, которые они тоже очень хорошо угадывают, то ли по запаху, то ли еще по чему.

Заросли лещины — это еще полбеды: ну, идешь, продираешься, не видишь за листвой, куда ступаешь, так не без того. Хуже, когда попадешь в цепкие лапы дикого перца — элеутерококка, колючего, как шиповник, растущего сплошь да рядом. Его пятипальчатые листья очень похожи на листья женьшеня, только чуть покоро-

че и не такие темные, и у Ивана не раз вздрагивало сердце, когда он видел росток с тремя-четырьмя такими листьями: а вдруг женьшень, у которого нет почему-то стрелки с ягодами?

Наклонится, посмотрит, нет — стебель покрыт колючками — перец.

Солнце пробивается сквозь ветвистую, раскачиваемую вверху ветерком преграду, и листва пестрит так, что больно смотреть. Середина дня, а листья кое-где еще мокрые от росы и отражают свет, как зеркальные. Солнечные зайчики вспыхивают и гаснут, создавая слепящую для глаз игру света.

С первых же шагов Иван изнанизил себе руки о колючки и стал заламывать кустарник, перебивая его палкой. Не заламывать нельзя — будешь тогда ходить дважды по одному месту или оставлять неосмотренные участки — орехи.

Мише не терпится скорее найти корень, и он рыскает по сторонам: Иван слышит, как свист раздаётся то вблизи, то вдруг издали. Все внимание, все мысли прикованы к одному — увидеть среди зеленого моря трав и кустарников красную головку женьшеня. Чем дальше, тем сильнее охватывает азарт — найти, найти! Глаза, как у одержимых, прикованы к земле — не оторвать. Завидев красное, Иван бросается туда, но вовремя вспоминает, что растение не убежит, и усилием воли сдерживает нетерпение. Подошел — и тут же горькое разочарование: всего-навсего бузина! Темно-зеленый горьковато пахнущий кустарник с густой листвой и гроздьями мелких красных ягод.

Изредка мелькнет вдруг красная звездочка иного толка, но и это опять не женьшень, а трава с красными ягодами, среди которых вкраплены синие.

Когда Иван показал эту траву Шмакову, тот глубокомысленно нахмурился, подумал и сказал, что это ложный панакс, которых ботаники-де насчитывают несколько десятков видов, а настоящий панакс — женьшень — только один. Вот почему, мол, и найти его так трудно.

На старом кедре нечто вроде затески — угадать трудно, так как наплывы по краям искромсаны топором. За полдня исхожено порядочно, время бы и отдохнуть. Иван постучал по дереву палкой. Это сигнал — затеска! Тот-

час подошел Шмаков, а за ним и Миша. Иван молча указал на кедр.

Шмаков осмотрел дерево, покачал головой:

— Хитрая затеска. Кто-то вырубил, чтобы другим не бросалась в глаза. Частенько так делают.

Эх, сейчас бы броситься на землю, раскинуть руки и ноги, бездумно смотреть в голубое небо, а тело пусть отдыхает. Но земля сырая, камень холодный, а поваленная лесина — на ней можно было бы посидеть — тоже влажная. Старики-корневщики на такой случай всегда носили под поясом сзади, как фартук, барсучью шкурку, чтобы можно было присесть где придется. Корневщики нынешние до таких «мелочей» не доходят.

Минут через пять Иван почувствовал, как от сырости неприятно заныла поясница, и встал, хотя ноги гудели от усталости. Увидев на его лице гримасу, Шмаков рассмеялся:

— Что, неразлучный фронтовой друг — радикулит?

Иван безнадежно махнул рукой: а куда от него денешься?

Шмаков поднялся, затоптал окурок и предложил пошарить вокруг «хитрой затески».

Вечером, чуть живые от усталости, они вернулись на табор в самом прескверном состоянии духа. Когда выходили на поиски, казалось, что стоит пройти в глубь леса, и взору сразу откроется таинственный женьшень. Вот сейчас, может, за следующим кустиком ждет удача. Но проходить бесплодно семь часов и не увидеть его в глаза, тут поневоле потеряешь надежду. Солнце садилось за сопку, расстилая по лесу косые тени, а у Ивана все еще пестрило в глазах, мерещились красные звездочки.

Компаньоны по корневке все были на месте. Умывались, переодевались в сухое. На полог сверху были брошены небрежной рукой несколько стеблей женьшеня с листьями и ягодами.

— А почему семена не закопали? — спросил Иван.

Федор Михайлович, сидевший под пологом, умытый и свежий, ответил:

— Сколь положено, закопали. Самые крупные. А эти, может, кто возьмет...

— Мало ли что. Положено все высаживать. В инструкции же прямо сказано!..

— Кому и на что это нужно? Через десять-пятнадцать лет, к тому времени как вырасти корню, здесь и леса не будет. Сведут.

Он неторопливо достал лубок с корнями, маленькие аптекарские весы и, добавляя к гирькам мелочь — от копейки до двадцати, принялся взвешивать корни и записывать в маленький блокнотик. Восемь корней потянули на двести сорок граммов. Миша сидел возле него и провожал каждый корешок блестящими жадными глазами.

Иван собрал стебли женьшеня и начал укладывать их в гербарную сетку, тщательно расправляя каждый листок. Директор музея просил не бросать. Разглядывая оставшиеся ягоды, спросил раздумчиво:

— На что эти семена, что с ними делать? Для гербария все равно неохранишь, почернеют.

— Как на что? — ответил Шмаков. — Их можно высадить, прорастут. У меня в вершине Матая есть небольшая плантация. Все мелкие корни, которые нахожу, тоже высаживаю там. Штук двести уже.

— Найдут, выкопают, спасибо скажут, — усмехнулся Иван. — Вот уж попрыгаешь тогда...

— Не найдут. Так сделано, что никто и не догадается их там искать. Повезло им, — кивнул он в сторону Федора Михайловича. — Что ж, по готовому следу шли, по затескам. Сразу на место.

— И все-таки настоящие корневишки так не поступают. Положено высеять все семена, надо было так и делать. Иначе ж сведут корень за несколько лет. — Ивана все не оставляла мысль, навеянная словами Федора Михайловича. — Ведь Павел Тимофеевич сам рассказывал, как раньше делали, а тут промолчал. Духу не хватило сказать или какая другая причина?

Шмаков пожал плечами:

— Не хотел, видно, портить отношения из-за ерунды. А потом вопрос: сведут не сведут — надо решать не так. Слышал я, что в Приморье целый совхоз по выращиванию корня организовали. Застолбили большой участок тайги, где еще корни водятся, и будут туда подсаживать семена. Вот это да, это по-государственному.

— Но это ж не то, — возразил Иван. — На экспорт идет лишь дикорастущий корень, а выращенный на грядке цены не имеет. Его везде полно: и в Корее, и в Китае, и в Америке. Что репа, что такой женьшень. Читал я такую притчу: давно известно, что корень поддерживает в человеке молодость, ясность мысли, бодрость. В потухающих глазах зажигается свет, а в угасающем сердце способность любить. Но корень страшно трудно найти, не всем он доступен. И вот объявился человек, который сказал: зачем искать женьшень, неделями бродить по тайге на авось? Ведь все известно, надо посеять его в парниках, приставить к этому сведущего человека, дать сколько нужно удобрений. Чтобы счастье было доступно всем. Так и сделали: посеяли, вырастили, а получилась петрушка, силы целебной не было. Так может получиться и в совхозе.

— В совхозе будет не только плантационный, а тот же дикорастущий, потому что созревать он станет на своих исконных почвах, в естественных условиях. Но самое главное, сейчас ведут испытания экстракта из элеутерококка. Есть надежда, что он заменит в медицине дорогостоящий женьшень и собьет ему цену. Оба эти растения из одного семейства аралиевых. Если женьшень подешевеет, какой смысл его искать? Вот и станет он рядовым растением. Это верная гарантия, что он тогда сохранится.

— Про элеутерококк и я слышал. Но заменитель и есть заменитель. Тут приходится считаться и с моральным фактором: женьшень все знают, в него верят, а что элеутерококк? Когда он без листьев, его от шиповника отличить трудно.

Ивану хотелось высказать мысли, возникшие в связи с виденным, пережитым и этими семенами, которые, как последнее звено, потянули за собой всю цепочку.

— Вот ты говоришь, совхоз — это по-государственному. Ты про Теплое озеро слышал? Недалеко от Хабаровска. Тоже решали вопрос по-государственному: чтобы сохранить амурского лосося — кету, построили рыбозавод. В инкубационных условиях выход мальков из икры во много раз больший, чем из естественных бугров, которые устраивает в озере рыба. Но для этого надо, чтобы к заводу приходила кета. Цель благородная. А

вот народ, живущий по реке Бире, этой идеей сразу не проникся. Осень — золотая пора, каждый идет на реку. Снасть нехитрая — бечевка с крючками-тройниками. Вода, как слеза, видно каждый камешек, проходящую рыбу тоже. Дерг эту снасть, дерг, глядишь, есть... Рыбинспекция, охрана по реке шныряет, кого оштрафует, кого усовестит: как, мол, не стыдно! А чего тут, одну-две рыбки поймал... Подумать, так вроде и в самом деле не много, а в результате завод половины икры не заложил. Не допустили производителей до завода, выловили. Пришлось на другой год по реке специальную охрану ставить. Вот так получается, когда думают, что можно решать важные вопросы только административным путем и забывают про людей.

— Судить надо было за это! — сказал Шмаков. — Церемонимся много.

— Судить проще всего. Воспитывать надо. Причем вот с таких, — показал Иван рост в полметра. — Пока, как говорится, поперек лавки укладывается. С детства уважения не привьешь, потом трудно.

На душе у Ивана все равно оставался неприятный осадок: была в словах Федора Михайловича другая, горькая правда, которой он ничего не мог противопоставить, не знал, чем оспорить.

Да, лес не берегут. Разве он сам не видел пустыри и вовсе оголенные склоны сопки у Канихезы — поселка лесозаготовителей? Разве не стоял в раздумье у барачков на Салде, среди зарослей березняка, поднявшегося на месте кедрача? Путешествие по краю для Ивана не в новинку. Повидал он достаточно всего. Вот почему, зная все это, так трудно оспорить слова Федора Михайловича. Не помогут тут и ссылки на Закон о защите природы, на плановые рубки, если на лесосеках не поднимутся через год-два стройные рядки молодых кедров или иных растений, высаженных человеком, если площади сведенных лесов растекаются неудержимо.

Посчастливилось Ивану побывать в Беловежской Пуще. На всю жизнь останутся в памяти величественные золотисто-звонкие сосны, ровные, стройные, с терпким смолистым запахом. Хороши там и темные ельники с шуршащей под ногами хвоей и шишками величиной чуть не с кедровую. Есть там дуб, к которому водят всех

экскурсантов, — великан, ровесник крепости Белая Вежа, глядя на который, поражаешься, сколь велики возможности природы.

Пущу любят, туда не прекращается паломничество экскурсантов. Это самоцвет в зеленой одежде Земли, это, наконец, прекрасно организованное хозяйство, где есть чему поучиться и лесникам, и охотоведам.

А разве наши дальневосточные леса хуже? Осматривая Пущу, Иван испытывал двойственное чувство: и зависть, и обиду за свои леса. Ведь таких, как на Дальнем Востоке, нет больше в Советском Союзе. Хороша Пуща, слов нет, но что она, идет ли в какое сравнение с нашими лесами по разнообразию растительности? Да тут на одном гектаре такое обилие пород, что и не перечить сразу. Причем, что ни пятое дерево, то реликт: бархат, орех, тис... Где еще найдешь такие леса? А кустарники, те не определить и ботанику, если нет под рукой справочника. Но все это — дичь, глухомань, куда человек заглядывает пока только затем, чтобы взять. А взамен ничего. И вот это всего обидней.

Рабочий день установлен твердый: с семи утра до семи вечера. Два дня снуют корневщики, как челноки, взад-вперед по склону сопки, так чтобы ни один квадратный метр леса не остался неосмотренным. И все-таки не везет, и тут хоть пропади.

За два дня одежда Ивана в полный голос заявила о своей ветхости: рукава и полы поношенного пиджачка обросли бахромой, брюки на коленях в дырах, сквозь поредевшую ткань светится тело, сапоги ощерились. По таким колючим кустарникам хороши бы рыцарские латы, да где их взять? Ладно, что догадался про запас положить новые штаны и олочи.

Одно дело, когда просто идешь лесом. Тогда выбираешь, где заросли пореже, а тут приходится ломиться напрямик, потому что надо придерживаться взятого направления, товарищей, чтобы не рвалась цепь из трех человек. Да и как обходить бурелом, чащу, если женьшень зачастую таится под веткой упавшей лесины.

Настроение неважное: надежды, горячая нетерпеливость уже оставили Ивана. «Нет ни черта, — уныло думает он. — Не так-то просто искать этот женьшень...»

Солнце обогревает восточную половину сопки, но к лагерю и на северо-западные склоны, где ведутся поиски, пробьется еще не скоро. Легкий туман окутывает долину Салды, придает мягкие очертания лесным зарослям. Травы, кустарники клонятся под тяжестью росы. Листья вздрагивают от падения капель. Паутина в бисерных брызгах влаги обвисла на растяжках. Озябшая за ночь паучиха виснет серым комком в центре своей сети.

Труден первый шаг, когда на сухую одежду падают холодные брызги, а потом — все равно. Одежда сразу промокает насквозь, будто путники, прежде чем идти, окунались в ледяную Салду.

По крутому склону выбита тропинка, но карабкаться по мокрым камням, скользить по росной траве что-то не по душе, и они с половины, не сповариваясь, берут влево, чтобы обогнуть первую сопочку по склону.

Сопочка вся «заломана», смотреть на ней нечего, путь корневищиков лежит дальше, на следующую. Но не мешает осмотреть сопку по низам: бывает, что женьшень спускается ниже двухсот метров над уровнем моря.

Справа, до самой вершины, стоит кедрач с примесью липы, пихты, клена, бархата. Слева — темный ельник с осинкой, с зарослями малины, смородины, бузины. Туда вообще заглядывать нечего: места для женьшеня неподходящие, он не любит такого соседства.

Иван шел средним, выше — Шмаков, ниже продирался чаще Миша. Внезапно Миша замер и подал Ивану сигнал: «Молчи!» Он что-то заметил. Иван просигналил оглянувшемуся Шмакову. Стараясь не шуметь, осторожно отступал Миша.

— Слышите?

В темной чаще ельников кто-то не то ухает, не то ворчит.

— Медведица. Услышала нас, маленьких отводит...

Шмаков достал из-за спины мелкокалиберку, Иван — из рюкзака топор. На душе заскребло: а ну, как ей вздумается прогнать нарушителей покоя, а это разве оружие?

Миша старается казаться веселым, но улыбка у него вымученная, да и говорит он шепотом:

— Пусть уходит. Постоим...

Он охотник, у него опыт. Однажды он бегал от раненого медведя, поэтому знает на практике, как это получается.

Шорохи, ворчание стали удаляться и наконец замерли. Где-то рядом «тенькает» синица-древолаз и тяжелая капля хлопает по листу. Громко, словно ладошкой. Звонкая тишина охватывает лес, незадачливых корневищиков, совсем затерявшихся в этом бескрайнем зеленом море. Самое страшное для них, если с кем-нибудь случится несчастье: заболит, напорется на сук, сломает руку или ногу, наткнется внезапно на зверя, и тот с перепугу нападет. Вынести человека по таким дебрям — почти непосильная задача для такой маленькой группы.

Солнце тем временем не стоит на месте. Косые лучи пробились через ветвистый заслон, прочертив в поредевшем тумане прямые светлые полосы. Загорелись алмазным блеском седые от росы травы, вспыхнули мокрые листья липовой поросли, зарумянилась и сразу позолотила красноватая кора кедра, а под ним, у самых корней...

Нет, Иван еще ничему не верит, слишком часто он ошибался на бузине, и, хотя в душе все замерло и прыгнуло от радостного предчувствия, он молча идет к жаркой красной звездочке, на которую упал солнечный лучик и зажег ее, вырвав из окружающей зелени.

У подножия кедра, в полуметре от него, Иван увидел розетку из сочных пятипальчатых листьев и над нею на тонкой стрелке гроздь красных, как коралл, ягод. А рядом еще один, а другой красноголовый красавец прятался за стволом кедра. Иван представил себе, что, не зажгись ягоды под солнечным лучиком, он запросто прошел бы мимо. От такой случайности порой зависит удача. Ему стало зябко от этой мысли. Он потрогал ягоды, листья. Они были сухие, хотя все вокруг блестело от росы, и это показалось Ивану странным. Значит, это действительно женьшень.

Вне себя от охватившей его радости, он застучал палкой по дереву в нарушение всяких правил. Шмаков и Миша вынырнули из чащи почти одновременно.

— Что, затеска?

— Братцы, на всех по корню. Женьшень!

— Так какого же ты черта не кричишь «панцуй!»?

— А разве надо? — все наставления вылетели у него из головы, и лицо, — глупое, растерянное, будто не нашел, а потерял последнее, что у него есть, после чего хоть в гроб ложись. Миша, только что глядевший восхищенно — вот это да! — вдруг расхохотался и стал пожимать Ивану руку, поздравлять с первой находкой.

Шмаков скинул свой заплечный мешок, винтовку, осмотрелся и деловито обошел вокруг кедра. Лицо его оставалось бесстрастным.

— Не топчитесь! — строго предупредил он. — Рядом могут быть еще корни, — и он принялся поучать: — Когда найдешь, надо кричать «панцуй!», а то корень может уйти. Раньше корневишки, найдя крупный корень, вешали на него «замок» — ленточку с монетками...

— И вы в это верите?

— Причем здесь верю — не верю. Я рассказываю, как было. За этим кроется другое: старые корни бывают пустотелыми, как перезрелая редиска. Ну а раньше, по темноте, считали, что корень ушел, оставив одну шкурку, как Василиса Прекрасная из жабьей кожи выходила...

Возле кедра нашлось семь корней, небольших, с четырьмя листьями каждый. Рассказывая, Шмаков быстро выполтел вокруг них траву, и корни стояли все на виду.

— Говорят, были счастливцы, которые находили женьшень с шестью и даже с семью листьями на стебле. Но таких не застал даже Арсеньев.

— Нам и такие ладно, — заметил Миша. — Третий день ходим.

Он сидел на корточках и налаживал дымокур, подкладывая в огонь тонкие веточки. Шмаков принялся выкапывать корень, осторожно ощупывая его от шейки и пальцами выбирая камешки и комочки земли. Чтобы ему не мешали, он прогнал своих напарников «прочесывать» лес вокруг находки, уверяя, что поблизости должны быть еще корни.

Удача! Первая находка и прилась на долю самого неопытного корневишки. «Наверное, я и в самом деле счастливый», — думал Иван, и в нем все пело от радости: «Нашел! Нашел!» Куда подевалось подавленное настроение, вроде перестали болеть исколотые руки, вроде осветился — заиграл всеми красками еще минуту назад

затуманенный лес. Буйные папоротники распахнули свои широкие узорчатые листья, уложив их в виде причудливых высоких корзинок. Заискрились листочки леспедецы — держи-корня, сплошь покрытого сине-розовыми цветочками. На медовый его запах прилетела дикая пчела и погрузила хоботок в серединку цветка.

Рядом с леспедецей, по-южному величаво, расцвела аралия, похожая на пальму: прямой без ветвей ствол увенчан широкой, как зонт, зеленой шляпой из причудливых перистых листьев. Каждый лист — это ветка из множества небольших продолговатых листочков, скомпонованных в затейливый узор и сбрасываемых осенью целиком, всей веткой. Из этой розетки-шляпы пышным султаном взметнулись вверх метелки белых соцветий.

Сегодня Иван готов простить аралии ее отвратительные колючки, коварные, сплюснутые, но такие острые, что проходят даже сквозь одежду. Вчера, схватившись невзначай, он больно поранил об нее руку. А может, это даже хорошо, что аралия имеет такую самозащиту. Не будь колючек, глядишь, она давно бы исчезла с земли. Ладно, расти, набирайся сил. Придет заготовитель, выкопает корни, и превратятся они в лекарство.

Забывая запахи трав, хвои, остро,пряно заявил о себе молоденький ясень. Крепыш пробил себе дорогу к свету среди буйного сплетения лиан актинидии, лимонника, дикого винограда. Какое чудесное разнообразие растительности! Оно немо-зелено для тех, кто незнаком с тайгой, для равнодушных, и живо, радостно, как с добрым знакомым, разговаривает с тем, кто любит эту зеленую стихию. Не зря говорят: человек видит и понимает лишь то, что знает.

Нет, Иван не кривил душой, когда на вопрос, с каким чувством покидает Беловежскую Пущу, ответил: «С чувством тоски по родному краю». Он подразумевал не только город, в котором жил, но и Амур, величественней которого не встречал реки, и леса, всегда возвращавшие ему силы, бодрость, хорошее настроение. Он даже не представляет, что делал бы, не будь леса, когда наваливалась беспричинная тоска.

В кронах деревьев прошелся ветерок, лес отозвался, зашумел, солнечные блески весело заплясали по кустарникам.



Вокруг находки ни одного корня больше не оказалось. Ивану и Мише надоело бродить без толку, и они подошли к Шмакову. Тот выкапывал третье растение. Мешали корни кедра, лещины, тесно переплеставшиеся между собой, мешали камни, среди которых прошили землю тонкие длинные мочки женьшеня.

Осторожно разгребая землю, Шмаков обнаружил рядом с живым «спящий» корень. Что повлияло — неблагоприятная ли погода или упала на него кедровая шишка, — но только он замер и не дал в этом году зеленого побега. Такую особенность — замирать, иногда на много лет, у женьшеня наблюдают часто. Опытные корневишники утверждают, что примерно пятая часть корней всегда находится в «спящем» состоянии. Корни эти живые, они могут пролежать в земле десять лет и не сгниют, будут лишь ждать благоприятных условий для роста.

Находка попалась не из простых. Шмаков потратил полдня, пока извлек все корни. Всю эту работу он проделал один, никому не доверяя. Иван и Миша сидели в сторонке, пили чай и только посматривали на него. Копать корни может всякий, тут никаких секретов нет, но требуется осторожность, как при гравёрной работе, иначе оборвешь мочку или повредишь корень, и тогда дело не поправить — он теряет цену. Китайцы-корневишники имели на этот случай костяные лопаточки, но самым лучшим инструментом, самым чувствительным, остаются пальцы, чуткие пальцы человека.

Хотя ему никто не мешал, Шмаков рассерженно шипел:

— Ну чего расселись? Ищите! Видите, на стрелке большого женьшеня ягодка растет обособленно? Она указывает, что в этом направлении есть еще корень. Хотите, на спор...

Компаньоны посмеивались, потому что все облазили вокруг и не верили в силу таких указателей, отходили на тридцать-сорок метров и возвращались.

Когда процедура выкапывания закончилась, Миша сделал лубянку — конверт из коры молодого кедра, — настлал в нее моху, насыпал земли, уложил корни. Сверху опять присыпал землей, прикрыл мохом, увязал. Корень нигде не должен прикасаться к смолистому лубу, иначе он начнет гнить.

— А семена? — напомнил Иван.

Шмаков выбрал самые крупные, зрелые ягоды, сделал для каждого зернышка лунку, рассадил их и заровнял землей. «Расти, всходи женьшень, чтобы и детям нашим было чего выкапывать!» — такими словами мысленно напутствовал посадку семян Иван. Это была не просто посадка, а продолжение спора с Федором Михайловичем: «Неправда! Будут у нас и леса, и редкие звери будут, и корень жизни!»

На этот раз они вернулись на табор усталые, но довольные. По их лицам все сразу догадались — с находкой!

— Ну как, вывернули? — встретил их вопросом Павел Тимофеевич. — Не напрасно ходили?

— Подфартило маленько.

— А я до сих пор «женихом» — ни одного...

— У нас только Миша «жених», остальные размочили счет.

— Вот видите. Нич-че, обломаете всю сопку, размочит и он.

У костра хлопотали Володька и Алексей. Помимо супа из концентратов, один готовил грибы, другой жарил гольянов. Когда Володька успеваеет их наловить, трудно сказать. Он будто железный, не устает. Даже Федор Михайлович и тот удивляется.

Однажды он ему сказал:

— Твое счастье, что ты на двадцать лет позже родился, не то быть бы тебе на Соловках.

— Это почему? — поразился Володька такому предсказанию.

— А потому, что туда самых злобных куркулей ссылали. Ты же самого себя не жалеешь, а других, дай тебе волю, ты и вовсе бы в гроб вогнал работой.

Володька долго дулся на него после этого: вот, мол, стараешься, а тебя же еще и облают...

После ужина Шмаков попросил у Федора Михайловича его аптекарские весы и стал взвешивать корни. Двести шестьдесят пять граммов. Не очень богато, но начало есть. Компаньоны, возглавляемые «старшинками», опять нашли больше. Сказывается здесь то обстоятельство, что они ищут на сухих высветленных склонах;

там и раньше находили корень, недаром оставлены «задиры».

Компания, возглавляемая Шмаковым, ходит по северо-западным склонам, где больше влаги, гуще заросли, а женьшень, хотя и тенелюбивое растение, но при недостатке света или теснимый травами, элеутерококком замедляет рост и даже замирает — «впадает в спячку», а сами корни, естественно, и тоньше, и поменьше весом.

Возвращаясь с поисков, Шмаков однажды предложил пройти по следам «старшинок». Не искать — времени для этого не оставалось, — а так. Вот тогда они и убедились, что характер растительности там несколько иной. Иван впервые посмотрел, что из себя представляют «выжиги» и «задиры».

Обижаться не приходилось: явились сюда «хвостом», не станут же корневищники-промысловики уступать им свои уголья. Уже темнело, когда любители ледяной купели полезли в речку, с уханьем, гоготом, с визгливыми выкриками. На этот раз Миша соблазнился и тоже стал раздеваться. А Иван подсел к костру. Напротив, на кедровой сухой чурке, сидел Павел Тимофеевич. Погреться у огонька всегда приятно.

Пламя ровное, спокойное, не стреляло искрами, можно было не опасаться за одежду. Под ласковым теплом расслабляются мышцы, уходит усталость, перестают болеть ноги.

Над костром мелькнула бесшумная тень. Проследив за ней взглядом, Иван увидел, как тень спланировала к дереву и слилась с рубчатой серой корой. Но вот нарост шевельнулся и превратился в белочку-летягу, маленького зверька, ведущего сумеречный образ жизни. У белочки поблескивали большие черные глаза. Взбежав чуть повыше, она бросилась вниз в новый полет и исчезла.

— Безобидная гварь, — промолвил Павел Тимофеевич. — Днем не увидишь, прячется по дуплам. Встречал когда такую?

— Приходилось не раз! — Иван ждал еще вопросов, но Павел Тимофеевич задумчиво глядел в огонь и сосал трубку.

— Павел Тимофеевич, что вы будете делать с корнями — сдадите их или на лекарство себе оставите?

— Не знаю. Если удача будет, может, какие и сдам.

А в основном для себя. Я ж говорил, сына надо поддерживать. А деньги — что! Сегодня они есть, завтра — пропил... На деньги я не жадный. Без них тяжело, но все же я за ними никогда не трясся. Алексей, тот да, тот на деньгу падкий.

— Он что, родственник вам?

— Какое там! Просто случилось выпить вместе, пристал: возьми на промысел. Знаю, что человек он не очень то, а отказать сил нет, неловко. К тому же сами видели, только на берег — и он навстречу. Пока ничего — обходительный, старательный.

— Вот и получается: чужому человеку отказать сил нету, а родного сына не взяли.

— Это правда. Меньшему моему без женьшеня совсем трудно. Как на лесобирже примяло бревном, так головные боли одолевать стали. Настойка лишь и облегчает. Я уж и сам подумываю, что погорячился малость. Ну, нич-че, привезу корня, уделю и ему. Все ж таки своя кровь, никуда не денешь. Обидят, так вроде и на глаза не надо, а перекипит — и отошло. Дети... Вот вы спрашиваете, буду ли сдавать корни. Правду сказать, так есть такая думка. Деньги-то нужны. Другим манером как зарабатываешь? Хоть к коммунизму идем, а начнешь припоминать, и вроде получается, что до войны деньги не имели над людьми такой силы, как сейчас. То ли подорожали они, то ли народ более охочий до них стал. Другой раз глянешь в газету — на какие только подлости не пускаются люди, и все из-за них. Конечно, много значит, что обстановка сейчас не та, чем, скажем, в тридцать втором или тридцать третьем году была. Тогда хоть с полным карманом ходи, а без карточки или «бонов» хлеба не купишь, не пообедаешь. А сейчас в город попал — все, что угодно душеньке. Были бы деньги. Мы-то свое отгарцевали, а молодежи, понятно, соблазн.

Павел Тимофеевич пошевелил дровишки, подкатил головни, и огонек, начавший было хиреть, вновь стал набирать силу. Проскочил мимо костра голый Алексей, скрылся в палатке.

— Конечно, — сказал Иван, — деньги сейчас в цене. Материальный стимул: заработал копейку, она тебе кровная. Как ее не ценить?

— Нет, не говори. Тут другое, — не согласился Па-

вел Тимофеевич. — Другое. Я только объяснить не могу, а нутром чувствую. Ведь раньше ее тоже зарабатывать приходилось, не с куста брали... Ну, да ладно, не об этом речь. От нас, промысловиков, государству прямая выгода, так почему мне и не пойти? Нашел корень — если сам не попользуешься, на базар его не понесешь — в заготконтору. По полтора, по два рубля уплатят да столько же, а то и больше государству дохода будет. Я же помню, как раньше: нашел корень — богатство! Много больше, чем сейчас, платили.

— Что-то не слыхал, чтобы раньше корневишки в богатеях ходили, — усмехнулся Иван.

— Конечно, корневишки всю жизнь в тайге, темный, разве он умел своим трудом попользоваться. Другие на его горбу наживались, всякие купцы, перекупщики. А в наше время думать о богатстве вроде бы уже и не принято. Идешь в тайгу, так разумеешь другое: кому-то твой труд, твой пот на пользу пойдут, кто-то свое здоровье на этом лекарстве поправит. Вот ведь что главное. Почему же этого не ценят? У нас как привыкли: пошел в тайгу промыслять, значит — ты за длинным рублем погнался, ты — хапуга, ты — пятое-десятое и чуть ли не вор — казну грабишь. Думают, пошел в тайгу — и гребни. Черта с два! Вот вы уже сколь ден ходите, а подфартило вам одному. Тут и судите...

— Согласен, — кивнул Иван. — Без промыслов пока не обойдешься, а писать — пишут, верно. Это, я считаю, от незнания пишут. Слышал что-то, где-то от людей, ну и кроет. А коснись, так не каждого сюда и загонишь. Даже за деньги не пойдет.

— Во-во! В самую точку! — воскликнул Павел Тимофеевич. — Возьми хоть корень, хоть пушнину, хоть лес. Сгниет, сопреет, вороны расклюют, кому польза. А ведь это народное добро. Надо же его кому-то вытаскивать. Так считай и это за труд, не фырчи, не крути носом. Вот был у меня такой случай: жил я с одним по соседству, он и пристал — возьми да возьми. А я в то время здорово наловчился на змее промыслять. Черт с тобой, думаю, поезжай. Тут и случись: начал он змею в ящик совать, а она возьми выкрутись да цоп его за руку. Как он заорет! Я прибежал, гляжу, а он сапогами ее с грязью месит, у самого глаза вот такие, лица нет.

Ну, сумасшедший и только. Оттолкнул я его, посмотрел — ужака. Самый настоящий ужака, безобиднейшая тварь, которую даже полезно вместо кошки к дому приручить. А он его за гадюку, наверное, принял. Успокаивать его, то-се, а он ни в какую: пропаду, домой, и все! Ни черта с ним, конечно, не случилось, зажали царапинки, и все, но о промысле уже и речи не шло. «Чтоб я, говорит, когда к этой твари прикоснулся — ни в жисть!» Вот тебе и промысел, и дармовые деньги. А ведь через мои руки сколько этих самых змей прошло — не счесть, тысячи, наверное...

— О чем речь? — подсел к костру Шмаков.

— Говорим, искать непотерянное — не просто.

— Это женьшень, что ли?

— И женьшень, и вообще...

— Еще бы! Года три назад вот также корневал я, в Приморье дело было. Вышли с табора налегке, ни палатки с собой, ни еды, думали, к вечеру вернемся, да и закружили. Я напарнику говорю — сюда, а он меня в противоположную сторону тянет. Ладно, думаю, веди, посмотрим. Вместо запада семь дней на восток шли. Задождало как раз, ни звезд, ни солнца не видать... По какой-то речке спускаться начали на плоту, пока даже дураку не стало ясно — не туда держим. Семь дней — туда, полторы недели — назад. Одними орехами питались да грибами. Урожай в тот год на кедровую шишку был хороший, сначала лазили за ними, потом падалицу собирать стали. Ослабли, оборвались, засмолились как черти. Когда вышли, меня такое зло взяло. «Что, говорю, туда или не туда шли?» И давай ему вешать...

— А корень нашли? — спросил Павел Тимофеевич.

— В Приморье я всегда найду. Когда на людей набрели, сориентировался я, нашел свой табор, корень в лубянке был прикопан — в сохранности оказался. Друг у меня в военной академии учился, а уже в годах, измотался. Сил, пишет, негу, а впереди еще экзамен. Послал ему корня, так он меня до сих пор благодарит. Как встретимся, так он меня в ресторан и угощать: «Не твой бы, говорит, корень, не дотянул бы я, бросил учебу...»

— Долго вы еще там галдеть собираетесь? — донесся из палатки раздраженный оклик Федора Михайловича. — Ночь уже, когда спать будете?

— Кончаем...

Над потемневшим лесом всходила полная луна. В речке на перекате струилась не вода — переливались блестящие серебряные полтинники.

Иван все еще считал, что у «старшинок» заговорит совесть: что ни день, приносят по двести-триста граммов, а тут всего один удачный день. У них опыт, должны же они что-нибудь подсказать, посоветовать, где лучше искать. Так нет, утром собираются — и ходу, будто не одной компанией ехали, будто не на одном таборе живут. Не вытерпел как-то Иван, спросил Павла Тимофеевича:

— Куда сегодня?

— Дорабатывать, — уклончиво ответил тот и подался. Не хотят говорить, вслед не пойдешь — закон тайги. А куда идти? Уже всю сопку со своей стороны обломали, вроде и куста не осталось, под который бы не заглянули, а фортуна улыбнулась один раз, поманила и отвернулась.

— Жмоты! Крохоборы! — кистил «старшинок» Миша, глядя им вслед злыми глазами. — За копейку удавятся.

Ему обиднее всех: Иван нашел целое семейство корней, Шмаков два корня вывернул, а он до сих пор ни одного, хотя избегает за день вдвое против остальных.

— Не бухти! — строго оборвал его Шмаков. — Легкой удачи захотел? Никто за ручку тебя не поведет, не покажет. Искать надо...

— Кто просит показывать? Посоветовать могли бы...

— Это одно и то же, — невозмутимо сказал Шмаков. — Если где и есть у них на примете затески, так для себя, про запас. А посоветовать и я могу: на этой сопке сегодня еще пошарим, не найдем, переходить на другую надо. Вот так-то. Айда!

Гуськом, нехотя, побрели в лес: Шмаков впереди, остальные следом. Сказывался август: с каждым днем прибавлялось мошки, комара. Мошка назойливо лезла в глаза, в рот, в нос, забивалась в рукава и под рубашку, и тело горело, как от ожогов. Остановились, окутали шею платками, намазались репудином — вроде полегчало. Мошка — неспроста. Это к перемене погоды, тут и

спрашивать никого не ходи, так ясно. А росы больше, чем обыкновенно. С каждого куста окатывает, словно дождем. Одежонка промокла до нитки с первых же шагов, репудин тут же смыло с рук, с лица, едкая жидкость поползла в глаза, на губы. Не рады, что и намазались.

Шмаков держал путь на вторую сопочку, которая была в одной цепи с первой через небольшую седловинку.

Лес сегодня казался неприветливым, хотя небо было яркое, солнечное. Не слуют по веткам синицы, не «работают» дятлы, не слышно картавого голоса соек. На валежину выскочил бурундук — полосатый зверушка с длинным пушистым хвостиком. Выгнув спинку с пятью черными продольными полосками, тревожно свистнул. Гортанно, резко откликнулась где-то жаба. А день еще ясный, это хорошо видно, когда посмотришь вверх, в прогалки между древесными кронами. Но часу не прошло, как поплыли над сопками облака, хоть и кучевые, а какие-то ленивые, замутненные. По всему заметно, побаловала корневищиков хорошая погода несколько дней — и довольно.

Идя цепью, корневищики прочесывали «ходом» пройденные уже не однажды места. И не напрасно: под защитой осины, у самого комля, среди замшелых камней Шмаков нашел маленький корешок. Женьшень был настолько слаб, что на нем и ягоды не созрели: среди зеленых — одна красненькая, как искорка.

Подивившись такому незавидному соседству различных по характеру растений, Шмаков стал выкапывать корень, а Иван и Миша решили тем временем обежать вокруг.

Они удалились дальше, чем рассчитывали, потому что очутились на седловине, где сопки стыковались одна с другой. Все кусты были беспорядочно обломаны, обкусаны. Шагов через тридцать корневищики увидели у подножия большого кедра копну травы, кустарника, веток — еще зеленых и уже порыжелых от времени. Миша схватил Ивана за руку и придержал. В тот же миг копна резко колыхнулась, и что-то с шумом ринулось наутек.

— Свинья с поросятами, — сказал Миша.

Иван уже и сам догадался, что они набрали на све-

жую берлогу — гайно диких кабанов. Свинья недели две назад облюбовала это место и устроила здесь лежку для себя и поросят.

— Пойдем дальше или вернемся назад? — спросил Иван.

Миша махнул рукой: «назад!», и они подались к Шмакову, придерживаясь гребня сопки, где едва намечалась какая-то тропка. Впереди послышались чьи-то голоса, перед корневищами показались два парня, оба в лыжных костюмах, с одним ружьем на двоих и небольшой поклажей в вещевых мешках.

— Что, тоже корнюете? — поинтересовался Миша, когда те, немного растерявшись от неожиданной встречи, сдержанно ответили на приветствие.

— Нет, мы геологи, — ответил тот, что выглядел постарше и был покрупнее. — По маршруту идем.

Ивану показалось, что он уже где-то встречал их, но где?

И почему они так неохотно разговаривали? Ведь те, кто подолгу находятся в тайге, обычно рады встречам с людьми.

Ссутулившись, парни торопливо уходили дальше. Когда они скрылись, Миша кивнул:

— Видал? «Геологи»!

— А ты сомневаешься?

— Ты что? — Миша удивленно глянул на Ивана. — Забыл? Или не узнал? Мы же их встречали перед поселком Канихезой.

— То-то мне показалось, что я их где-то видел.

— А я этого толстомордого сразу узнал. Значит, подались по нашим следам. Как бы на таборе чего не слямзили...

Шмаков только услышал о встрече с парнями, сразу забеспокоился:

— Бегаете, орете! Разве так делают? Любой за три версты узнает, что ходим здесь, ищем...

— Ищем — не ворует, — резонно заметил Миша. — Что нам до других. Пусть знают на здоровье.

— На каких нарвешься. А то придут ночью, перестреляют, и концы в воду.

— Ну уж, не те времена!

— Много ты понимаешь! — сердился Шмаков. — Лес

это тебе не город. Пропали, и с концом. Не люди, так зверь набежать может, покалечит.

— Наоборот, услышит, убежит! — дух противоречия обуял Мишу. — Зверь человека всегда боится.

— Какой боится, а какой сам его ищет. Бродит, вынюхивает, на кого бы напасть... Сколько хожу, никогда с такой безалаберной компанией не сталкивался.

Офицер запаса, он превыше всего ценил в любом деле порядок и тишину, а тут доходит до прямого неповиновения.

Чем выше поднималось солнце, тем большая духота обволакивала лес и без того влажный. Может, это духота делает людей такими раздражительными? Тяжело. Мешок даже с незначительной поклажей горячим утюгом давит спину. Это еще хорошо, что маленькая находка и встреча взбодрили корневщиков, развеяли их плохое настроение. Странное дело, лес будто повеселел. Иван знал, что это обман. Лес тот же, ведь не могли же за час-полтора расцвести аралии, это глаз стал немного любопытней.

Иван задержался у тиса — могучего реликтового дерева с прореженной, как у пихты, хвоей, не образующей густой тени. Хвоинки у тиса чуть пошире пихтовых и разобраны на две стороны, как пробор человека на голове. Ветви устремлены вверх, но не все, нижние клонятся до земли. Ствол, как колонна, с продольными вмятинами, кора коричневая, словно дерево подсушено, и на нем сохранился только луб. Иван долго рассматривал это редкое дерево, гадая, сколько может быть лет такому гиганту — восемьсот, тысяча? Ведь тис в десятилетнем возрасте по величине уступает годовичному ростку пихты.

Неподалеку от тиса другой реликт — амурский бархат с толстой рубчатой мягкой пробковой корой. Кто-то подрезал кору у комля, и дерево неминуемо засохнет. Бархат — полезное дерево, к зиме он покрывается гроздьями черных, как агат, ягод, которые держатся чуть ли не до весны, если птицы не склюют. В августе ягоды только буреют. Мебельщики ценят бархат за текстуру — красивый рисунок и тон древесины, пчеловоды — за нектар с целебными свойствами; ко всему этому бархат — пробконос и очень привлекателен. Как много в лесу диковинок!

Миша подошел, похлопал дерево, сказал:

— Кородер подрезал!

— Едва ли, — качнул головой Шмаков. — Кто ему мешал снять кору по правилам, чтобы не загубить дерево? Просто у кого-то чесались руки, вот и окольцевал...

— Лесное хулиганство, — сказал Иван. — Шел подлый человек лесом и напакостил.

Миша — старший егерь заказника, ему тоже знакомо лицо подлого человека, подлого по отношению к зверю, птице, природе заказника.

— Морду бить надо за такие дела! — говорит он.

Здесь кончались владения «старшинок», можно было идти, не опасаясь, что окажутся на их следу, и корневишки стали огибать сопку с южной стороны. Наверху — скалистые останцы. Вокруг них, по каменистым россыпям — заросли малины, бузины, аралии, непроходимые сплетения лиан актинидии, виноградника, шатром накрывшие свою опору — кустарники.

Чтобы немного отдохнуть, подышать прохладным воздухом, Миша полез на останец, за ним остальные. На высоте приятно посидеть, нет-нет да потянет ветерком, будто погладит прохладной ладошкой и отгонит надоедливую мошкарку. Внизу этого не чувствуешь.

Со скалы открывался вид на окрестные сопки. Одна цепь за другой, как синие морские волны, поднимались они вдали. Когда смотришь сверху — все понятно: там сопка, там — другая, между ними ключик, в другой стороне долина Салды. А спустился со скалы, и ничего не видишь, как в мешке, и куда идешь — непонятно.

У подножия скалы стоят кедры. Сверху видно, как густо обсыпаны их макушки шишками; они торчат кверху по три-пять штук, как растопыренные пальцы. Будь в руках шест, до ближних можно бы дотянуться и сбить. Ведь орешки уже образовались, и хотя шишки облиты смолой, все равно ими можно полакомиться. Поглядывая на них, корневишки прызли сухари и вздыхали: молочные орешки вкусны.

— Вот собака, что делает! Поглядите! — внезапно указал Миша на кедр, стоявший внизу на некотором удалении.

На верхушке среди ветвей шевельнулось что-то чер-

ное. Медведь! Оказывается, гималайский медведь с белым передничком на груди уже лакомится орехами, не ждет, пока они созреют и станут падать. Забрался на сорокаметровый кедр, откусывает ветки с шишками и укладывает их под себя.

Миша торопливо шарил вокруг, пытаясь оторвать плитку камня, чтобы швырнуть в этого разбойника, но тот уже заметил на скале людей и скрылся.

Корневщики спустились со скалы, подошли к дереву; на котором сидел медведь. На красноватой коре следы острых когтей, а метрах в семи от земли в стволе темно-ло отверстие — свежий пролом.

Шмаков обстукал кедр — пустотелый. Медведь выбрал неплохое дерево: в середине дупло, добрая будет берлога на зиму, а пока на верхушке есть чего перекусить. Но до зимы еще далеко, и заляжет ли здесь медведь — неизвестно. Одна из веток свалилась на землю вместе с шишками. Как раз по шишке на брата. Спасибо и на этом.

Часа в четыре дня, когда корневщики потеряли всякую надежду и просто по инерции брели «развернутым строем», Миша заорал, как сумасшедший:

— Панцуй, панцуй, панцуй! — и стал хохотать.

— Панцуй, так чего орешь? — сердито сказал Иван, но когда подошел ближе и увидел несколько красноглавых красавцев, стоящих тесной семейкой, тут же расцеловал Михаила. — Вот это находка! Шмаков, посмотри, какие крупные...

Растения все как одно — рослые, сочные, с темно-зелеными листьями и фиолетовыми ворсистыми стеблями. На стрелках грозди крупных, как соевые бобы, ягод. Все, кроме одного, имели по четыре пятипальчатых листа.

Да разве можно было не радоваться: все эти дни Миша ходил, как неприкаянный, выбегает за день больше остальных, а удачи нет и нет.

Под самым крупным растением сидела отвратительная бородавчатая серая жаба.

— Вот она, королева! — сказал Миша и стал осторожно прутиком подталкивать жабу в сторонку. — Охраняла сокровище. Давай, давай отсюда, красавица.

Жаба, лениво переваливаясь на кривых ножках, поволокла свое раздутое, как пузырь, туловище в траву.

— Надо же, — удивлялся Миша, — сидит не под папоротником, не где-нибудь, а именно под женьшенем. Умница!

— Случайность! — буркнул Шмаков, но тут же признался: — Впрочем, черт его знает, почему они устраиваются именно под женьшенем. Я тоже встречал не раз. Может, потому, что женьшень всегда сухой?

Он оглядел найденные растения, снял котомку и пропнал Ивана и Мишу искать еще. Те не сопротивлялись: держась друг от друга метрах в пяти, они стали прочесывать кустарники вокруг.

— Знаешь, загадывал на себя, на жену, на дочку, — рассказывал Миша, — все несчастливые. Загадал на егеря — работает со мной один — повезло.

Человека будто подменили: лицо радостное, глаза лучатся, словно с первой находкой весь переродился. Иван смотрел на товарища, и жалость шевельнулась в душе. Счастлив, сияет, а в глаза бросается и другое: как здорово вымотали его поиски! Щеки ввалились, нос выпятился, скулы заострились, из-под расстегнутого воротника куртки выпирают ключицы, одежда виснет, как на колу. Худоба! Когда Миша оборачивался спиной, Иван видел острые лопатки.

Внезапно на ум ему приходит, что и сам он выглядит не лучше, а может, много хуже, потому что Миша моложе, он легче переносит тяготы, да и больше привычен к суровой таежной жизни. Сейчас весело, но если по честному, то Иван устал здорово, и с удовольствием бросил бы поиски. Пусть ищет тот, кто в этих корнях нуждается, а с него хватит. Бывает, что иному человеку и полезно за неделю-полторы сбросить килограммов пятнадцать весу, а у Ивана они не лишние. Нет, вид у него совсем не бравый, это определено. Одежда разваливается, на брюках уже негде да и незачем ставить заплатки, сапоги — дай бог дотянуть в них до табора. Но самое главное — руки. Они вспухли от множества заноз, исколоты, все в мелких подкожных нарывах. Миша добровольно уступил ему рукавицу с левой руки, но она мало помогает — все, за что ни возьмись, колючее. Заноз хватит вытаскивать до Нового года.

К тому же Иван чувствовал общее недомогание, видимо, прилег потный на землю, застудился, и теперь у него на виске вскочил чирый. Ощущение такое, будто кожу прихватили бельевой прищепкой и тянут. Нет, сбор женьшеня совсем не веселое занятие.

На пути попался громадный поваленный бурей кедр. Ствол успел обрасти за многие годы пластом моха, как шубой, и на нем, словно на крепостном валу часовые, поднялась молодая поросль клена. Корневщики присели отдохнуть. Стояла такая тишина, что даже пиньканье синицы обращало на себя внимание.

— Ну что, пойдём? — спросил Иван, когда они немного отдохнули.

— Да, — согласился Миша. — Тут, по-моему, корнями больше и не пахнет. Интересно, что он там выкопал...

Шмакова они заметили издали по белому платку, которым он окутал шею. Он уже выкопал пять корней. Все они были примерно одинаковые, от тридцати до пятидесяти граммов. По форме их нельзя было причислить к сорту «экстра», который оплачивался по пять рублей за грамм, но ко второму классу подходили бесспорно. По инструкции, к первому классу относятся крупные корни, у которых есть ясно выраженная кольцовка на теле, а само туловище пропорциональное и расходится внизу на два отростка — ноги. Трудно сказать, имеет ли форма корня какое-нибудь влияние на его свойства, но китайская медицина придает ей первостепенное значение, отсюда и наши заготовители придерживаются общих правил при определении сортности.

Шмакова допекала мошка, он фыркал и косо поглядывал на своих компаньонов, ждал, когда они уйдут, чтобы не мешали ему копать. Миша развел вблизи него дымокур, а Иван, чтобы подольше посидеть, спросил:

— А как отличить настоящий корень от ложного? Если не в тайге его нашел, где он с листьями, а, скажем, с рук его берешь? Ведь похожих корней очень много.

— Раньше делали так, — ответил Шмаков, утирая потный лоб рукавом и распрямляя спину, — брали под язык кусочек корня и шли, предположим, три-четыре километра. Если корень настоящий, человек не чувствовал при этом усталости.

— Здорово придумано!

— А теперь, чтобы люди не обманывались, делают еще проще: и продавать корни, и покупать их с рук запрещено.

— Вот как?

— Да, вот так! — зло сказал Шмаков. — А теперь проваливайте! Видите на лещине узловатую ветку? Вот куда она смотрит, в той стороне должен быть корень. Верная примета. Ищите и без корня не возвращайтесь.

Иван и Миша переглянулись и пошли. Ох, уж этот старый корневище! Заданное веткой направление вывело их на крутой косогор с небольшим скалистым выступом, на котором зимой, наверное, оттаивались изюбры, спасаясь от волков. Они взобрались на скалу. Бесспорно, в этом направлении где-то растет женьшень и не один, но где...

Белесая мгла затянула все небо, солнце еле проглядывало сквозь плотные высокослойные облака. Все предвещало скорый дождь. Миша качнул камень, лежащий на самом выступе, предложил:

— Столкнем? Чуть держится, еще на голову кому свалится.

Иван не прочь был подурачиться и согласился. Вдвоем они навалились на камень, поднатужились. Камень качнулся раз-другой и сорвался вниз с тридцатиметровой высоты. Как напроказившие, компаньоны поплелись назад.

— Что там гремело? — встретил их вопросом Шмаков.

— Так, сорвался камень.

— Я вижу, вам еще в рюшки играть надо, а не корневать.

Иван усмехнулся, подумав, что такому человеку, как Шмаков, наверное, очень трудно жить на свете с несерьезными людьми.

Дождь начался ночью, исподтишка, но вскоре шепот листвы выдал его. Иван выглянул из-под накомарника. В черной тьме ночи ярко светилась принесенная на дрова гнилушка. Холодный голубоватый огонь струился от каждой щепочки, им было облито все корневище. Живые холодные искры носились в воздухе, но это уже светляки.

Лес притих, насторожился. Рядом стонал и хрипел во сне Миша. Он так много курит махорки, что Ивану порой кажется, будто в груди у него что-то булькает и вот-вот оборвется. Он перевернул товарища на бок, поудобнее, и тот замолчал. Сразу стало тише.

Но сон улетучился от Ивана. Неясные шорохи окружали табор, сближались, обступали палатку. В них чудилась и мягкая поступь зверя, и чей-то шепот, и шелест крыльев — широких, пружинящих. Неясность тревожила, буродажила память, и та услужливо воскрешала самое заветное, далекое, казавшееся забытым...

Как-то внезапно и остро его охватило беспокойство. Впервые за полторы недели он с тревогой подумал, что, пока скитается в поисках корня, дома мог кто-нибудь из детей заболеть и его бедной Насте прибавилось забот: к беспокойству о муже-бродяге хлопоты по уходу за больным ребенком. А он-то...

«Нет, не надо думать о плохом», — сказал он себе и стал вспоминать все хорошее, что было в их совместной жизни. Все, от первого знакомства до дня, когда он назвал ее своей женой, происходило у них при каких-то необычных обстоятельствах. Может, потому, что война, опасности придавали их чувствам особую окраску, глубину? Даже сейчас, спустя почти два десятка лет, он не может вспоминать об их первой встрече без улыбки.

Он приехал в корпус с лекцией о проведенной операции, но собрать офицеров не удалось: гитлеровцы короткими налетами прощупывали оборону, и командиры не могли оставить свои подразделения. Он уже сел в машину, чтобы ехать обратно, когда к нему подошел оперативный дежурный и попросил подвезти до штаба армии разведчика. Каково же было его удивление, когда он увидел почти девчонку-лейтенанта. По-строевому, четко откозыряв ему, майору, она назвала свою фамилию.

Иван мог ехать в кабине, но сел в кузов. Девушка держалась замкнуто, отвечала «да—нет» и отчужденно смотрела в сторону. Разговорились позднее, когда оставили машину и пошли пешком. Разговор зашел о боях. Незадолго перед этим на литовских полях произошло крупное танковое сражение: гитлеровцы бросили в контрнаступление свои танковые соединения, и на полях оставались подбитые и сожженные «тигры», «пантеры» да

и наших машин немалое число. В разгар лета, среди хлебов, под кудрявыми ракетами, горбились черные громады, мертвые, обожженные, зияли воронки от авиабомб, сорванная с крыш черепица устилала землю.

Попутчица несла в руках округлившийся потертый портфель: видно, втиснула в него все свое имущество. Идти предстояло изрядно, Иван хотел взять у нее портфель из рук, но она не позволила.

«Боитесь, что украду? — смеясь спросил он. — А в портфеле военная тайна». Она смутилась: «Не боюсь, но...» — и передала ему ношу. Когда разговор стал более доверительный, она сообщила, что ее вызвали в разведотдел, а зачем — убей — не представляет.

Иван знал офицеров этого отдела и довел спутницу до самого места, чтобы ей не пришлось никого расспрашивать.

В течение пяти дней, пока она не получила назначения, Иван встречался с ней в свободные от службы часы. Стояли удивительно голубые ночи, теплые, напоенные ароматами трав и созревающих хлебов. Что особенно врезалось в память, так это могучие ветлы с рубчатой темной корой и плакучими, поникшими чуть не до земли ветвями, озаренные огромным сияющим диском луны. При малейшем дуновении ветерка листва на них переливалась, как текучее серебро... И еще каштаны. Их много росло по обочинам дорог, на них уже зрели плоды, и они всегда оставались темными, недвижимыми, не отзываясь на игру света. Кажется, доведись снова поехать в Литву, он нашел бы и деревню Иодайцы, и фольварк, в котором располагался разведотдел, и даже ветлу, под которой он ожидал ее на свидание.

Такие ночи — считанные в жизни человека, а у него, отдавшего все молодые годы войне, — тем более. Может, поэтому так дороги воспоминания. Лейтенанта — теперь он звал ее Настенькой — направили служить в запасной полк. Только тут понял он, сколько треволений несет с собой это святое чувство. Он писал ей длинные и, наверное, несуразные письма, тосковал, когда подолгу не удавалось свидеться, ждал почтальона, как бога. Жизнь его приобрела значимость. Будущее ему представлялось долгой и интересной дорогой: иди и иди, и с каждым шагом перед тобой будут открываться чудеса.

А потом были зимние тяжелые бои по прорыву укрепленных рубежей в Восточной Пруссии, слякоть и смертельная усталость, такая, что даже на опасность порой не хватало сил реагировать. Теперь Настенька тревожилась за него: жив ли, не попал ли под осколки, не нарвался ли на засаду?

Ей не приходилось заблуждаться относительно того, где и что делает Иван, она хорошо знала, что офицеры штаба не сидят в наступлении в укрытиях.

Но все шло хорошо. Уже попахивало весной и близкой победой, когда гитлеровцы, прижатые к побережью на Земландском полуострове, неожиданно перешли в контрнаступление, чтобы соединиться с гарнизоном Кенигсберга. Гвардейцы, теснимые противником, несли большие потери. И тут, в самую эту коловерт, неожиданно направили Настю: в дивизии, где она до этого служила, требовался срочно командир разведвзвода, и вспомнили про нее.

Иван, как узнал, тут же, на ночь глядя, умчался за ней на мотоцикле. Трудно найти человека, если каждый дом забит людьми до отказа, если ночь, а все размещались, где кто сумел, устали до предела и никто ничего толком не знал. Лишь перед утром он случайно нашел Настю. Его счастье, что она еще не успела принять взвод. Он за рукав, упирающуюся, — как же уйти самовольно! — вывел ее из дома, и они пошагали обратно. Они шли до штаба армии целый день. Было слякотно, туманно, по сторонам высились уродливые с обрезанными кронами ветлы, тянулись унылые, однообразные до тошноты поселки: красные кирпичные стены, красная черепица, черные проемы окон. На серых унылых полях не на чем было задержаться взгляду. А за спиной грохотала артиллерийская глухая пальба. Такое ведь не забывается.

Настя беспокоилась: попадет за самовольный уход из дивизии. Правда, она еще не успела сдать направления, но все-таки... Иван утешал, как мог, хотя и сам тревожился.

Он обо всем откровенно доложил своему начальнику штаба, полагая, что тот подойдет не формально к решению их судьбы, а по-человечески. Тот, пытливо сверля их взглядом, спросил, серьезно ли это у них? Конечно! Иван

готов был поклясться чем угодно, что это серьезно, навсегда. Тот пожевал губами, раздумывая, потом вызвал командира запасного полка к телефону, Иван знал его: высокий, седой как лунь полковник.

— Что же вы, — сказал он ему, — направили на передовую командира учебного взвода... — он назвал фамилию Насти. — Мужчин разве недостает?

Что отвечал полковник, Иван мог только догадываться, но зато слова начальника штаба запомнил хорошо:

— Мало ли что у вас ее затребовали. Надо же понимать обстановку: конец войны, а она — женщина. Впредь без моего распоряжения никуда из полка ее не направлять. Она не только за себя, но и за своих будущих детей отвоевала...

Иван не знал, доживет ли до конца войны, но был рад, что для его Насти ратная служба кончилась. Два дня она прожила у него, и он ходил хмельной от счастья. Ординарец отдела — щупленький солдат с перебитой рукой — где-то раздобыл сковородку и нажарил им картофеля с трофейной ветчиной. Это был их свадебный обед. Не было ни поздравлений, ни тостов, но этот день так и остался для него незабываемым. Тогда казалось невероятным, что он когда-нибудь оставит Настю по своей воле хотя бы на день. А вот оставляет на недели.

Иван усмехнулся: время, как вода голыши, сглаживает остроту чувств. Как приходит лето, нападает на него тоска по лесной тишине, по глотку ключевой воды, манят к себе голубые сопки. Кажется, без этого не жить. Змея, меняя кожу, забивается в камни, в тесноту, а какая нужда гонит его в глушь? Или это простая необходимость в душевной разрядке, в отдыхе? «Нет, тут что-то еще, — думает он. — Ведь неспроста уходили раньше люди в землепроходцы. Не ради наживы и новых земель только... Ерунда, — отмахнулся он. — Хорошо, что Настя, как это ни назови, понимает и хоть скрепя сердце, но отпускает».

Шорох дождя, как поток быстролетящих дней. Кажется, вот оно, прошлое — рядом, а его отделяют уже почти двадцать лет.

На миг ему представляется земля, будто с высоты полета на ТУ-114. Среди бурых массивов пахоты — жалкие островки леса. Пыльные вихри гуляют над полями,

засухи чередуются с проливными дождями, влагообмен земли нарушен, капризы климата не поддаются прогнозам...

Но что-то в душе Ивана протестует против такого видения: нет, нет, нет! Так не должно быть, так не будет. Сейчас даже простые, не искушенные в науке люди видят и понимают, сколь губительно для природы, а в конечном счете для человечества бездумное хозяйничанье, забвение обязанностей по восстановлению лесов, плодородия почвы, по защите водоемов от загрязнения. Народ все строже станет призывать к порядку хозяйственников, которые не желают считаться с интересами общества, всерьез возьмется за лесопосадки. Ведь лес — это устойчивый, ровный климат, чистая вода, это урожай на полях, это одежда, это здоровье человека, его радость, его счастье.

Разные мысли приходят в голову, когда тебя обнимает темная ночь, а шорох дождя гонит сон и тревожит душу.

Поиски женьшеня в дождливую погоду окончательно доконали Ивана: вся левая сторона лица у него распухла так сильно, что глаз не открывается, а каждый шаг отзывается в голове ударом молотка.

Он решил не ходить на поиски. Вместе с ним остался на таборе Павел Тимофеевич. Ему тоже что-то занедужилось.

Солнце заглянуло на опустевший табор, подсушило росу, пригрело палатку. За время поисков Иван отвык от его тепла, потому что в лесу между солнцем и землей всегда зеленая преграда из ветвей и листвы и внизу тень или, в лучшем случае, пляшущая игра солнечных пятен.

Иван вылез из накомарника, поправил раскатившиеся головешки в костре и, когда огонек потянулся, расправил рыжие лапки, подвесил котелок с водой: надо же и почаявать! К огоньку подсел Павел Тимофеевич, пожаловался на боли в груди: устал человек от ежедневных напряженных поисков, потянуло старика на отдых. С жалоб на недомогание разговор перекинулся на причины — конечно же, во всем виноваты фронтовые невзгоды, ранения, контузии. Если вдуматься, так диву даешься, сколько может вынести человек. Иван и сам пережил

немало, прошел путь от рядового до офицера штаба крупного соединения, но, слушая Павла Тимофеевича, невольно проникся к нему уважением: вот уж кому досталось так досталось!

Пользуясь возникшим между ними доверием, Иван спросил:

— Павел Тимофеевич, как же так: вот вы говорили, какие раньше законы у корневщиков были. Выкопал корень — семена засея. А сами приносите семена. Зачем?

— Я не приношу, это они. Зачем, сам не пойму! — старик пожал плечами. — Говорят, нужны. Может, дома где высадят. А мне они ни к чему. О плантации раньше надо было думать, а сейчас разве дождешься, пока они вырастут...

— Но ведь так же нельзя.

— Разве я им указ? — он вдруг хитро посмотрел на Ивана: — Ты делай, как я. Пока те с корнем возятся, я все крупные зернышки повыскублю и в карман. А потом идешь и где только земелька помягче, получше, втыкаешь по одному-два. А ссориться из-за ерунды тоже не следоват. Тайга...

У Ивана еще свежи в памяти ночные раздумья.

— Эх, Павел Тимофеевич, за природу сейчас драться надо, в полный голос к совести людей взывать, а вы — «втихомолку зернышки повыскублю». Вспомните, как на фронте, — грудью на пулеметы...

— За то и по соплям получали, когда грудью, — с усмешкой сказал Павел Тимофеевич. — Вспомните и вы, где грудью-то перли? Там, где командир либо дурак, либо трус перед начальством. На него накричат, вот он и готов всех положить, лишь бы самому чистеньким остаться. Не больно хитрая штука — грудью... Опять же там по одну сторону враг, по другую — свой. А сейчас? Попробуй, разбери. Промеж нас люди ходят, одним воздухом дышат. Взять того же директора леспромхоза: выполняет план, значит — уважаемый человек, в депутатах ходит, а что он половину тайги на повал, на гниль пустил, чтобы эти свои кубометры вытащить, об том спору нет. Взять бы да посмотреть, что у него на делянах делается, да и сказать: какой же ты защитник трудящего человека, если народное добро не бережешь... Не смотрят еще у нас в корень! — он махнул рукой: — Пущай

теперь молодые воюют, им жить. А с меня этих драк хватит.

— Да, бойцы мы с вами уже никудышные. Я даже спорить не могу — завожусь. Иной раз видишь несправедливость, тут бы и вцепиться, а потом и подумаешь: не хватит выдержки, не по зубам. Да, обидно. Ну кому, как не молодежи, взяться за охрану природы, а у них это до ума еще не доходит.

— Писать, говорить надо чаще, вы же люди грамотные. Сами знаете, капля и та камень долбит. А бойцы мы какие — нервы ни к черту, истрепались. Потому и молчишь, потому, бывает, и водочки в другой раз переложишь.

Потом они долго сидели, греясь в лучах жаркого солнца, довольные чаем, хорошей погодой, выдавшимся для них отдыхом. Когда стало припекать, Павел Тимофеевич взял леску, срезал ореховое удище и отправился ловить гольянов. Иван полез в свою «берлогу» отлеживаться.

Первым с корневки вернулся Федор Михайлович. Он пришел не в духе и сразу стал ворчать, что на таборе нет порядка, что посуда не мыта, что из-за этого собирается муха и, будь он на охоте, немедленно ушел бы от таких компаньонов.

— Больной называется, — ворчал он на Павла Тимофеевича, — полбанки сгущенного молока уплел.

Он пинком отшвырнул консервную банку и сел разуваться. Иван догадался, что за все время у него впервые выдался невезучий день, а тут еще распоролась олоча. Ну как тут не возьмет зло! Обувь для тайги — самое неразрешимое дело. Сапоги кирзовые тяжелы, а в резиновых «горят» ноги, ботинки слишком недолговечны. Охотники вынуждены шить обувь самодельную — кто какую умеет: обычно это кожаные олочи — мягкие лапти.

Федор Михайлович уселся на чурку, достал шило, дратву и, все еще негодуя, приступил к ремонту олочи.

В семь часов подошли Шмаков и Миша, оба веселые.

— А где же ваши компаньоны? — спросил Шмаков.

— Черт их знает, убежали куда-то! — сердито ответил Федор Михайлович, не прекращая работы. — Отбились.

Алексей и Володька пришли на табор, когда солнце утонуло за темную кудлатую сопку, усталые, грязные, потные.

— Решили махнуть подальше, — рассказывал Володька. — Километров за десять учесали, уже думали возвращаться, и вдруг корень, потом семья... Выкапывать толком некогда было, выворачивали вместе с дерном, на руках отряхивали. Один крупный попался, на пять листов.

Федор Михайлович достал свои аптекарские весы, собрал все гирьки, монеты и стал взвешивать корни. Самый крупный потянул на сто сорок граммов. За таким можно было пробежать и не десять километров, а поболе.

Алексея словно подменили. Он не суетился, сидел важно, как человек, знающий себе цену. Иван впервые видел его таким и недоумевал: что на него так повлияло? Вот уже с полчаса как пришел, и ни одного восклицания «Пал Тимофеич!» Неужели сменил своего шефа-наставника на Володьку?

Видать, их сблизил самостоятельный поход, они поняли, что могут промышлять и без «старшинок», уверились в своих силах и им не терпится отколоться от общей компании. В этом весь секрет. Даже готовя себе чай, Алексей на этот раз не суетился, как бывало, а вел себя сдержанно.

Павел Тимофеевич ловил гольянов — на зорьке они клюют охотнее, — а Володька и Алексей сидели за чаем и втихомолку поругивали его: вот, мол, отсиделся, старый хрыч, пролежал день в палатке, и надо лишить его за это доли в сегодняшней находке.

— Правильно будет, как думаешь? — спросил Володька.

— Как сказагь... — уклончиво ответил Иван. — Тут надо учитывать, что он привел вас на это место, показал. Без него вы ничего не нашли бы ни в этот сезон, ни в прошлый. Опять же на Рябов Ключ собираетесь, кто поведет?

— За то, что он привел нас в прошлом году на это место, мы его в пай брали, — перебил Володька. — Самто он ни шиша найти не может. То ли красно-зелено не различает, то ли уж такой нефартовый.



Глаза у Володьки блестели, словно он хватил стопку спиртного; горячась, он старался доказать правоту, которая нужна была ему скорее для себя. Иван понимал их обоих: найти в первом самостоятельном походе столько корней и теперь с кем-то делиться?! Очень им не хотелось этого делать, но дележ зависел пока не от них, а от Федора Михайловича. Как он скажет, так и будет. Пойти на открытый разрыв со своими «старшинками» они не решались, побаиваясь, что этот шаг может отлучить их от компании, а впереди еще загадочный Рябов Ключ. На всякий же случай не мешало заручиться хоть какой-то моральной поддержкой, вот и допытывались.

— Знаешь, — Володька оглянулся, не показавшись ли из-за зарослей Павел Тимофеевич, и заговорил вполголоса: — Знаешь, я сегодня смотрел и рядом с нашей прошлогодней копаниной еще ямку нашел. Это он в прошлом году затаил корень, траву притоптал, а потом после нас пришел и корень выкопал.

— Ну, это весьма сомнительно.

— Точно! Я еще в поселке разузнавал, говорят, после нас он опять ездил корни сдавать. А откуда они у него взялись? Чувствуешь? А теперь и ямку нашел.

— Не знаю, братцы, — сказал Иван. — Делайте, как знаете. Полагайтесь на совесть.

— А, что там — совесть! Из совести сапоги не сошьешь, — авторитетно заявил Алексей. — Раз не искал, так какая тут может быть его доля?

— Странно, Алексей. Не ты ли говорил — век благодарить буду, только научи. А теперь?

— Значит, если обещал, так позволить себе на хребтину сесть и ноги свесить? Так выходит? — Алексей глянул на Ивана откровенно ненавидящим взглядом, засопел и отвернулся.

Ивану стало ясно, что дорогой, пока шли, они успели обо всем договориться и переубеждать их ни к чему. «А как мои напарники? Ну, тут дело проще, я и сам не стану претендовать на их находку: не искал».

Глаз у Ивана так опух, что перестал открываться. Миша глядит на его изуродованную физиономию и смеется:

— Солнышка нет, а ты жмуришься.

День снова выдался хмурый, роса не просыхала, но корневщики упорно обламывали сопку. На этот раз они искали корень за Салдой. Неподалеку от просеки они нашли копанину «геологов». Судя по ямкам, им попалась семья женьшеня. Значит, ходили ненапрасно. В том, что это те два парня, которых повстречали недавно, никто не сомневается. Миша хороший следопыт и уже приметил отпечатки их сапог. Ошибиться он никак не может.

— Не они б, находка прилась бы на нашу долю, — сказал Шмаков. — Плохо, когда много людей в одном месте.

— Эх, найти бы плантацию, — вздохнул Миша.

— Кто для тебя ее приготовил? — иронически отозвался Шмаков. — Чудак ты, честное слово. Поговори с любым корневщиком, и он обязательно наврет тебе с три короба про плантации. Это же миф, мечта каждого, кто ищет.

— Миф, миф. Слышал же, как Павел Тимофеевич рассказывал про корейцев, которые здесь жили?

— Ну и что?

— А то, вдруг да и попадется кому-нибудь на самом деле!

Иван тоже считал, что все эти рассказы о плантациях — вымысел, которым каждый искатель подогревает свой азарт, но зачем разуберять человека. Разве мало случаев, когда люди следовали за мифом, а делали самые неожиданные открытия? Это же просто необходимо, чтобы у человека была мечта, которая звала бы его вперед.

Дождь застал корневщиков в лесу. Сначала они укрылись в дупле огромной липы. Вход в дупло находился на высоте груди, а само оно было столь велико, что в нем могло поместиться пять человек.

Глядя на это могучее дерево с широкой зеленой кроной, Иван невольно припомнил беловежский дуб-великан, к которому обычно водят всех экскурсантов. У нас же в лучшем случае бросят на такое дерево любопытный взгляд, но никому и на ум не придет сказать, что такое дерево следовало бы сохранить, что лес с такими могучими деревьями — лицо края, выражение его богатой флоры.

Только что, по пути к этой липе, Иван встретил другую диковинку — лозу дикого винограда. Она свешивалась с большого ясеня. Однажды, много лет назад, зацепившись за его ветки, лоза росла и росла, закрыв шатром своей листвы всю крону дерева и забирая львиную долю солнечных лучей. Лоза достигла толщины оглобли и свешивалась, как огромный канат.

Около часу стояли корневщики в дупле липы, а дождь продолжал неторопливо нашлепывать по широким листьям лабазника, папоротника, по молодой липовой поросли с листвой в тарелку.

— Не переждать, — сказал Шмаков. — Пошли!

Одно дело быть в мокрой одежде, другое — когда тебя поминутно окатывает каскадом брызг с каждого куста. Вода течет по телу, и вот уже сотрясаешься от озноба, как под осенним холодным дождем.

Чуть теплые, с посиневшими лицами, нещадно искушенные комарами, добрались корневщики до табора. Их компаньоны сушили одежду у большого жаркого костра. Иван подошел и протянул руки к огню, жмурясь от блаженства. Мелкие дождевые капли остро покалывали кожу.

— Завтра будем выходить на Канихезу! — сказал Федор Михайлович.

— Что так рано? Вы же собирались до пятнадцатого...

— А чего торчать? Сопку всю обломали, ни черта больше нет, продукты кончаются.

— Оттуда куда? На Рябов Ключ?

— Посмотрим, — неопределенно ответил Федор Михайлович.

Когда Иван, немного согревшись, залез под накомарник переодеться в сухое, Миша шепнул:

— Не пойдут они на Рябов Ключ. Не хотят вести туда такую компанию.

— Правильно делают, — Ивану и в самом деле было безразлично — пойдут, не пойдут. Не пойдут, так еще лучше. Он устал от этих поисков.

— Им что: у них уже около двух килограммов корней, они ничепо не теряют.

— А что ты теряешь?

— Чудак человек! Ты полез в тайгу ради любопыт-

ства, а мне эта тайга уже в печенках сидит, я ее и дома каждый день вижу, из мокроты не вылезаяю.

— Зачем тогда шел?

— А затем, чтобы подзаработать. Я тебе не говорил, хата у меня строится, гроши нужны вот так...

Павел Тимофеевич сидел у костра особняком, мрачный и неразговорчивый. Значит, состоялся-таки дележ.

Иван пил чай, когда его подозвал Шмаков. Корни лежали, поделенные на три равные весовые кучки. На трех бумажках перечислялся вес каждой в отдельности. Шмаков свернул бумажки в трубочки, положил их в фуражку, встряхнул:

— Выбирай!

Иван потянул жребий. Ему досталась кучка с одним стограммовым корнем и несколькими мелкими. Всего на его долю пришлось двести пятнадцать граммов. Когда каждый забрал свою долю, Шмаков выложил корни, которые они нашли в день болезни Ивана, и стал делить их, но уже только на две доли. Мише стало неловко, и он отвел глаза.

Корешки. Пот и кровь. Что есть более трудное, чем их поиски по непролазной чащобе, не зная наверняка — найдешь ли?! Идут люди в тайгу, полагаясь на себя и компаньонов. И вот — финал!

Случись несчастье с кем-нибудь, остальные, слова не сказав, все силы отдали бы спасению. А решимости сказать, так мол и так, ты не ходил, и мы считаем, что тебе не полагается доли из добычи этого дня, не хватило. Сговорились за спиной. Неужели Иван не понял бы? Стало обидно: ведь товарищи же!

— Ну что, тебя тоже обделили? — мрачно спросил его Павел Тимофеевич и, не дожидаясь ответа, сказал: — Сколько ходил корневать, первый раз встречаюсь с такой компанией. Дурак! — укорил он себя и плюнул в огонь. — Как последний дурак встретил незнакомых людей, привел на место, показал... Чтоб я сделал после этого еще кому добро — ни в жисть!

— Не надо так огорчаться, Павел Тимофеевич! — сказал Иван. — Это ж не на производстве, не укажешь — платить по больничному листу или нет. Компания временная, ничему никого не обязывает. Делят, как бог на душу положит...

— Разве у них душа? — Павел Тимофеевич безнадежно махнул рукой и заткнул рот трубкой.

Увидев бараки на берегу Канихезы — обрадовались: конец пути!

За время, пока корневщиков не было, в избушке кто-то останавливался. Это они заметили, едва только переступили порог. На столе огрызки сухарей, куски черствого хлеба, банки. Как чаевали, так и бросили все, не прибрав за собой.

Федор Михайлович сразу полез на чердак и тут же крепким словом оповестил остальных, что и там дело неладно.

— Какая зараза все перевернула?

Алексей переменился в лице и кинулся в старый барак проверить, цел ли его мотор. Вернулся он успокоенный: цел, хорошо припрятан был. Один за другим полезли на чердак остальные. У каждого чего-нибудь не доставало: консервов, папирос, белых сухарей — того, что повкуснее.

Павел Тимофеевич вернулся с берега и тоже «порадовал»:

— Лодку угнали!

— Геологи взяли, — заявил Володька. — Их тут до черта по реке шныряет.

— На что им твои консервы, когда на этом же чердаке у них целый склад всего, — резонно заметил Федор Михайлович. — На ящиках даже фамилия начальника партии указана. И ничего не тронут, я смотрел. Если б они приезжали, так, наверное, что-нибудь из своего имущества взяли б.

— Никакие это не геологи, это те два парня.

— Но куда они могли деть лодку? — сокрушался Павел Тимофеевич. — Лодка новая, только прошлым летом сделал.

Страсти накалялись. Все и без того усталые, злые, а тут такое, что и домой добраться не на чем, и в тайгу идти не с чем.

— Убивать таких гадов!

— Руки оттяпать на колодке!

— Найти тех двоих, раздеть, и пусть добираются, как знают.

— Подумать только — угнать лодку! А вдруг с кем беда? Попробуй без нее добратся.

Во всех высказываниях сквозила такая жажда мести, что окажись те два парня в эту минуту поблизости, не сдобровать бы им. Матерки летали, как кирпичи, из угла в угол. Наконец каждый установил, что у него взято, пыл стал понемногу спадать. Неясно только одно — кто взял? Но гадай не гадай, делу этим не поможешь. За спиной у каждого полдня утомительного пути, пора подумать о еде и отдыхе.

Когда поели, на душе немного отлегло; опять принялись гадать, кто бы мог устроить такую пакость — угнать лодку и располовинить продукты. Про геологов уже никто не поминает, всем ясно, что они такого не сделают. А пришла бы им нужда, написали бы, что взяли. Ни один геолог в здравом уме не станет руки пачкать воровством. Геологи сами оставляют в тайге имущество и продукты, где застигнет необходимость. Это могли сделать только те двое — знакомые Павла Тимофеевича, хотя ясно и другое — не пойман — не вор.

— Поймать стервцов, отдубасить как следует!

— За самосуд самих привлекут! — напоминает более рассудительный Шмаков.

— Самосуд... Вот засяду на реке на неделю, укараую — как собак перестреляю, — горячится Павел Тимофеевич. — Будут спускаться, никуда не денутся. Кроме, как рекой, другой дороги нет. Тогда меня суди. За подлецов много не дадут.

— За такое в тайге пулю между лопаток — и дело с концом! — вторит ему Федор Михайлович. — Потому что не тобой положено — не трожь! — он бросил гневный взгляд на Шмакова: — Вор берет, плюет на все человеческие законы, а мы — за свое, и не смей тронуть. Очень уж легки на защиту. Сам рассказывал, как тебя из тайги выносили, когда клещ укусил. А нут-ка с кем из нас несчастье? Попробуй тут вынести. За неделю до поселка не доберешься.

— Разве я защищаю? — пожал плечами Шмаков. — Надо сначала твердо знать, а уж тогда судить-рядить.

— Раньше у римлян было правило, — вставил свое слово Иван, — прежде чем вынести ответственное решение, судьи принимали холодные ванны.

— Вот погоди, придется на плоту спускаться, нахлебешься холодной воды, тогда скажешь, — оборвал его Федор Михайлович.

— А вдруг лодка поблизости запрятана, — высказал предположение Миша. — Если посмотреть, поискать...

— Можно, — согласился Федор Михайлович. — Володька, Алексей, айда, пошуруйте по кустам.

На поиски лодки отправились четыре человека: двое — по одной стороне реки, двое — по другой. Часа через два явились грязные, усталые, злые.

— Нет ни черта. Упнали!

— Тут в любой ключ загони, и с концом, днем с огнем не отыщешь.

С этим можно согласиться: даже возле избушки такие густые заросли таволожника, жимолости, вейника, что местами не пробиться. Зашел, — кусты выше головы, и ничего кроме неба не видать.

О дальнейшей корневке никто больше не помышлял. Без лодки, без продуктов об этом нечего и думать. Тут выбраться бы к поселку и то хорошо. Отдыхали в мрачном раздумье.

Вечером у костра Володька, глядя на старые доски, снятые с барачных крыш, предложил:

— А что если сделать оморочку? Эти не подойдут, с крыши снимем которые покрепче...

— Из какой едреной матери будешь делать, из этой гнили, что ли? — с сердцем сказал Федор Михайлович и зло пнул доски ногой.

Предложение повисло, не найдя поддержки.

Летняя ночь коротка, но Ивану почему-то не спалось, и он поднялся чуть свет. Юго-западный ветер гнал по небосклону низкие тяжелые тучи, росы не было. Через редкий волнующийся березняк проглядывала румяная зоревая полоса, подбивая алой бахромой тугие валки туч. За время блужданий по тайге корневщики не видели как следует неба, над ними всегда был сомкнутый полог леса, а тут простор, раздолье, над Канихезой гуляет ветер, ершит воду, а березки, как девчонки в белом, протестующе машут зелеными платочками.

Ивану отлично известен «закон тайги»: встал первым — разводи костер. Он собрал немного щепочек, за-

строгал сухую тальниковую палочку «петушком», сунул ее в серединку и подпалил. Огонек весело запрыгал, вырвался наружу, окреп. С чердака спустился Володька, подсел к костру.

— Ну, что решили делать? — поинтересовался Иван, слышавший, как вечером на чердаке «старшинки» еще долго о чем-то бубнили. — Плот, оморочку?

— Не знаю. Как наши старики скажут, так и делать будем. Скорей всего плот.

Плот, как и оморочка, Ивана мало радовал: на оморочке — дважды два перекинуться, все перетопить, с плотом тоже не лучше. На пути несколько заломов, упавших лесин, плот через них не перетащить, всякий раз его разбирай, заново сколачивай, этак и сил не хватит.

Один за другим к костру собрались остальные, обступили огонь, грея руки и отворачиваясь от едкого дыма. После завтрака, когда все уже стали подниматься из-за стола, Федор Михайлович вдруг спросил:

— Ну, что делать? Подскажите. Один ум хорошо, два, как говорится, лучше.

Про оморочку никто больше не заикнулся. Все советы к одному: делать плот, на нем кому-то одному спуститься до поселка и оттуда пригнать лодку за остальными.

— Что ж, так и сделаем, — согласился Федор Михайлович и встал: — Володька, Алексей, собирайтесь, а мы пойдем делать плот.

Собираясь на корневку, Павел Тимофеевич кинул в лодку пилу. Казалось бы, зачем она нужна летом? А вот теперь весьма кстати.

Сделать плот даже в лесу не столь просто, как это на первый взгляд кажется. Сырое дерево, какое ни возьми, едва держится на плаву, а такие, как пихта, лиственница даже тонут. Годится лишь кедр, но тут приходится считаться с силами: любой кедр из сохранившихся у реки не меньше метра в диаметре. Попробуй свалить такую громадину летом да к тому же завалящей пилой. А и свалишь — не выкатить к воде, даже разделав на чурки. Нужна только сушина, а легко ли ее найти в пойменном лесу?

Павел Тимофеевич сказал, что вчера, когда шарился по кустам в поисках лодки, видел неподалеку сушину,

пожалуй, подходяща будет, и повел остальных к тому месту.

Непролазный таволожник и заиленные недавним наводнением кочки враз изменили облик корневщиков — все перемазались в грязь с ног до головы. Пока добрались до сушины, собрали за собой весь гнус. Мошка и комары висели тучей, будто слетелись со всей долины Канихезы. Они залепляли глаза, рот, нос, уши, забивали дыхание. Даже в самую ненастную погоду в сопках было меньше гнуса, чем здесь, в сыром пойменном лесу, где все задыхалось от жаркой испарины. А может, подошло самое время комара и мошки?

Чертыхаясь, проклиная весь свет, поминая недобрым словом ученых, которые выдумывают всякие атомные бомбы, а вот такой ерунды, как защита от гнуса, не осият, корневщики наспех свалили сушину, разделали ее на чурки, снесли к воде. На открытом месте меньше гнуса, но овод одолевал. Пока запиливали в чурках пазы, потные руки облились кровью: не станешь же из-за каждого укуса бросать инструмент! Вскоре плот был готов, и Федор Михайлович кликнул Володьку и Алексея.

Они пришли с мешками, карабином, рульмотором. Плот под ними закачался, они уравнили его, упершись в дно шестами. Бревна почти скрылись в воде, но не тонут. И то хорошо.

— Ничего, сдержит. В случае чего пристегнете еще какую плавину, — сказал Федор Михайлович. Он махнул рукой: — Айда! Неч-ча время терять.

— Счастливо доплыть!

— Слышь, Алексей! — крикнул вдруг Павел Тимофеевич. — Может, ребят моих увидишь, скажи чтобы сюда шли.

— Ладно. Встречу, так передам!

Алексей и Володька вывели плот на середину Канихезы и стали удаляться. Плота не видно было из воды, и казалось, что они стоят на блестящей ровной поверхности и река несет их, как на эскалаторе метро.

— Чурки скоро напитаются, еще ниже осядут, — сказал Шмаков озабоченно. — Доплывут ли?

Федор Михайлович и сам переживал за людей, потому что легче принять трудное дело на свои плечи, чем

посылать на это других. Чужая забота больно задела его:

— Ни черта, не маленькие, доплывут! — ответил он с неожиданной злостью и зашагал к избушке.

Пусто и неуютно стало в избушке. Все молчали, а если приходилось кому молвить слово, говорили вполголоса, словно чего-то боялись.

Павел Тимофеевич держался особняком, хмурился. Все умылись, расселись за столом, а он набил трубку табаком, удочку в руки и пошел ловить рыбу. Наживку искать не надо, оводов хоть отбавляй, только успевай прихлопывать, когда вопьются прямо через рубашку или брюки.

Иван понимал причину его подавленного состояния: обделили на корневке, а тут еще похитили лодку. Это уже ощутимый удар по его материальному положению, потому что на реке жить без лодки почти невозможно: ни сена накопить, ни за дровами съездить, ни на рыбалку, ни за ягодами. Худо-бедно, а такую большую лодку дешевле, чем за сорок-пятьдесят рублей не купить. Не хорошо получилось. Шел человек заработать, а вместо этого сплошные убытки.

— Обижается мужик! — сказал Иван, когда Павел Тимофеевич ушел. — Не по совести поступили, а тут еще пропажа.

— Что я, виноват? — вскинулся Федор Михайлович. Он покраснел, глаза сверкали зло, колюче. — Нашел бы я эти корни, так черт с ними, хоть совсем он не ходи — сунул ему пай, и дело с концом. Конечно, ему обидно, да разве столкнешься? — он выругался. — Компания подобралась — им одно, а они тебе другое...

Значит, Володька и Алексей настояли на своем, не посчитались даже с мнением своего «старшинки». Иван решил довести разговор до конца:

— Лодка ведь денег стоит. Выезжали вместе, почему один должен страдать за всех? Надо человеку как-то помочь.

Федор Михайлович промолчал.

— Вот грузины, — заговорил Шмаков, — те друг за друга стоят. Я в Закавказье несколько лет служил, на-смотрелся. Всякие там сватья-братья, они там этим родством переплелись, без пол-литра не разберешь. Под-

выпьют, так бывает и грызутся между собой, а тронь кого — горой.

— Да какая там у него лодка, — презрительно сказал Миша. — Корыто — три доски. Подумаешь, потеря.

— Конечно, потеря... Сколько, по-твоему, стоит лодка?

— Да ни черта не стоит. Что он покупал эти доски? Так достал. Ведь сын в леспромхозе работает.

Федор Михайлович прихлопнул ладонью по столу:

— Ладно, хватит. Попробуй сам сделать, тогда и скажешь, стоит она, чего или нет. Приедем на место, решим, как быть. В крайнем случае скинемся по пятерке. Не скоты же — люди!

Утром никто не торопился вставать — спешить было некуда. Завтракали поздно, а потом слонялись из угла в угол, не зная, чем заняться, прислушивались, не доносится ли бойкое журчание мотора. Ивану этот день показался удивительно долгим; так тянется время на вокзале, когда ждешь поезда. Теперь, когда поиски были закончены, каждый час — напрасно потерянное время, отдалявшее возвращение домой. После раздумий в ту дождливую ночь Ивана не оставляла мысль о семье: как там они, здоровы ли, все ли у них в порядке? Ехать бы скорее, а тут сиди и жди у моря погоды...

«Старшинки» отлеживались на чердаке и о чем-то бубнили вполголоса. Павел Тимофеевич был вспыльчив, но отходчив и долго сердиться не мог. За ночь отошел душой и снова стал словоохотлив, готов услужить всякому.

Посасывая трубку, он высчитывал, сколько потребуется Володьке и Алексею времени, чтобы доплыть на плоту до поселка и вернуться назад уже на лодке. По всему выходило, что за два-три дня должны обернуться. Если, конечно, не загуляют. В разговорах, чаепитиях прошли три дня. Вечерело, когда издали донеслось натужное гудение рульмотора.

— Едут наши, — сказал Миша и стал прислушиваться. Звук то затихал, пропадая совсем, то усиливался вновь.

— По кривунам петляют, — заключил Павел Тимофеевич. — На берег надо выйти, оттоль лучше слышать. По воде звук легче бежит.

Звуки нарастали, становились отчетливее, и вскоре из-за кривуна вынеслась длинная плоскодонная лодка. Володька, сидевший впереди, приветственно взмахнул рукой.

— Ну, как добрались? — спросил Федор Михайлович.

— Хватили лиха, — ответил Алексей. — Немного отплыли, тонет плот под нами, хоть пропади. К залому подходить стали по щиколотки в воде. А тут темнеет и еще медведь...

— Какой медведь? — удивился Федор Михайлович. — Отколь его черти вынесли?

— А вот Володька не даст соврать: плывем, а он то ли черемуху обламывал, и мы его потревожили, то ли берегом брел и увидел нас...

— Речушка узкая, а он стоит и рявкает, — вмешался в разговор Володька. — Перетопит нас, думаю. Ну я и стебанул по нему! — Володька жестами показывает, как вскинул карабин, выстрелил.

— Большой был? На сколько потянул? — засыпал его вопросами Миша. — Мясо ничего? А то бывает, что летом и жрать иного нельзя — воняет.

— А черт его знает, я ему в зубы не смотрел. Пальнул два раза, видел, что оба раза попал.

— Эх ты, стрелял, так чего бросил? Может, он тут же и окочурился?

— Не-е, эта тварь живучая, ушел. Слышно было, как по кустам ломился. Конечно, может, потом и подох, мы назад ехали, видели — воронье там кружится. Не так бы поздно, можно бы пройти за ним, посмотреть. А то темнеет, не разберешь: то ли медведь, то ли пень. Куда пойдешь? Чтобы шганы оборвал?

— Какой же ты к черту охотник? Струсил! Потому и стрелял, потому и зверя бросил, — напал на него Миша. — Какой дурак тебе поверит, что летом медведь на двоих кинется. Столько мяса...

— Ты потише! — сверкнул глазами Володька. — Языком трепать всякий может. Попробовал бы сам: плот еле держится, качни — перекинется. И темень... Да провались оно и мясо. Продашь на полтину, а на штраф нарвешься.

— Ну, а как вы тут? — вмешался Алексей, видя, что

перепалка вот-вот перерастет в ссору. — Никто сверху не спускался?

— Нет, вроде бы никто, — ответил Павел Тимофеевич.

— Мы там в поселке спрашивали, думали, может, кто видел твою лодку. Говорят, никого не было. Наверное, ее угнали куда-то кверху.

— Чего там «куда-то», — безнадежно махнул рукой Павел Тимофеевич. — Тут в любой ключ загони, и с концом. В трех шагах пройдешь и не заметишь. Караулить надо. Обязательно спускаться будут. Только так.

— А мы твоих видели, — сообщил Алексей. — Они в поселке. Говорят, завтра сюда подадутся, вот только ягодников каких-то отвезут и сюда.

— Что ж, поедут, так не разминемся, — ответил Павел Тимофеевич. Он критически осмотрел лодку. — Маловата. Пожалуй, все не поместимся.

Иван стоял в стороне, не вмешивался. Прав Миша: струсил Володька, потому и зверя бросил. Сидел медведь на черемухе, плота не заметил, подпустил близко, как тут было утерпеть, не показать своего молодчества: пальнул! Если б наповал, может, и оттяпали бы по око-року, а раз ушел, искать поостереглись. Идти за раненым зверем — смелость нужна.

— Чего медлить? — громко распорядился Федор Михайлович. — Хватай, ташши каждый свое, будем подаваться. К ночи успеем до залома дойти, все ближе.

Все пошли в избушку за своими котомками. В лодке остался один Алексей. Он сидел на корме и делал вид, что занят делом — перебирал в коробке инструменты.

Павел Тимофеевич пришел к лодке последним, свалил мешок в лодку, спросил:

— Ну что, отваливаем?

— Давай! — скомандовал Федор Михайлович. — Ничего не забыли? Проверьте!

— Я проверил, вроде бы все взято, — Павел Тимофеевич оттолкнул лодку от берега, вскочил сам.

Моторка была перегружена до предела, запас бортов не превышал двух сантиметров. Алексей дернул несколько раз за заводной шнур, мотор выстрелил короткой очередью, окутался синим дымком и затрещал весело, бесперебойно.

Тяжелая лодка разворачивалась медленно.

На крутом повороте лодку стало заносить на плавину. Павел Тимофеевич встал на колени, взялся за весло и сильными односторонними гребками отвел ее в сторону.

— Перестаньте там махать! — раздался окрик с кормы.

Тон был явно оскорбителен, и Павел Тимофеевич метнул на Алексея гневный взгляд, но смолчал. Он положил весло и стал отчужденно смотреть перед собой, стискивая трубку до боли в зубах. На скулах бугрились и опали желваки.

На корме о чем-то весело переговаривались Алексей и Володька, толковал с Шмаковым Федор Михайлович, а Павлу Тимофеевичу казалось, что только он один на лодке лишний, и обида переполняла его сердце. Делал людям добро, а теперь никому не нужен. Даже Алексей и тот... Вот как оно бывает.

Повороты следовали один за другим, лодка шла вниз быстро. Смеркалось. Позади, в береговой зелени, багрянилось небо, а впереди синеватые полосы тумана уже робко перехватывали речной узкий коридор, как бы заметывая его на живую нитку. Над высокими травами на прогалке кувыркались ночные черные козодои, схватывая на лету насекомых. Стремительно, кидаемый на воздушных волнах, мелькнул в разбойном бесшумном полете ястреб-тетеревятник. Его узкие клинкообразные крылья, как черные молнии, резали податливый, отяжелевший от сырости и пропахший лесной прелью воздух. Он торопился куда-то на ночлег, может быть, с неудачной охоты и, увидев под собой людей в лодке, не изменил направления.

Шумный речной перекат, где, поднимаясь, рубили шесты, был затянут туманом: на текучей, кипящей волнами быстрине вода скорее отдавала тепло, накопленное за день и принесенное сюда с равнин, хорошо прогреваемых солнцем. Пар ощутимо обволакивал лица путников теплом и влагой.

Лодка с ходу скребанула днищем по гальке. Звук этот болью отдался в душе Павла Тимофеевича. Он машинально, не очнувшись от охвативших его раздумий, сунул весло в воду, чтобы скорей протолкнуть лодку через мель.

— Заберите у этого дурака палку! — грубо и зло крикнул Алексей. Он прекрасно видел, что на носу сидит его «Пал Тимофеич», но его точила досада, что приходится понапрасну гонять лодку, жечь свой бензин, чтобы кого-то вытаскивать из тайги. Ведь ему никто не заплатит за это и копейки.

— Чего орешь? — осадил его Федор Михайлович. — Пусть гребет, ведь помогает.

— Мешает только смотреть! — огрызнулся Алексей. — Машется!

Павел Тимофеевич яростно вскинул весло, на мгновение задержал его, словно перебарывая соблазн запустить им в голову Алексея, и зашвырнул в тальники.

— Ы-ых, саб-бака! — выдохнул он, багровея лицом.

В ту же минуту, неожиданно для всех, он сграбасгал одной рукой свой мешок, другой — ружьишко и, словно с тротуара, шагнул за борт лодки. Лодка качнулась, черпнула воды. Прежде чем кто-либо успел сообразить, что произошло, лодку отнесло метров на пятьдесят ниже. Лишь там задержались у берега.

— Эй, Тимофеич, чего психанул? — примирительно окликнул его Федор Михайлович. — Иди...

Павел Тимофеевич выливал из сапог воду.

— Валите вы все!.. — он длинно матерно выругался и зашагал к балагану, который находился неподалеку от переката на высоком месте.

— Па-а-думаешь! — высокомерно произнес Алексей. — Слова не скажи.

— Как же так, человека оставлять нельзя! — сказал Иван.

— Ничего, поехали, — распорядился Федор Михайлович. — Его теперь не уговорить. Сыновья подъедут, заберут.

Лодка заскользила вниз, навстречу сгущавшимся сумеркам. Корневщики молчали, словно враз одновременно потеряли что-то очень важное, невозместимое.

Павел Тимофеевич вылил из сапог воду, но она снова захлюпала, а мокрые брюки облепили ноги и мешали идти.

Он остановился, решительно сбросил сначала сапоги, потом брюки, исподние шаровары и принялся выкру-



чивать поочередно каждую штанину. Комары липли, обжигая, будто крапивой, мокрое незащищенное тело.

Он яростно шлепал себя по голым ляжкам, матерясь сквозь стиснутые зубы. В довершение всех бед, натягивая брюки, он запутался в мокрой перекрутившейся штанине и повалился, больно поцарапав щеку. Этого только не хватало.

За поворотом затихло жужжание мотора. Лодка уходила, и Павел Тимофеевич чувствовал, как вместе с замиранием звуков к нему возвращается самообладание.

«Черт с вами, плывите», — пожелал он им лиха и вскинул мешок на плечи.

В густой чаще темнело раньше, чем на воде. Отдельные кусты, выворотни теряли свои обычные очертания и лезли в глаза медведями, дыбились, словно бы подстерегая неосторожного путника. Но Павел Тимофеевич был сейчас настолько взвинчен, зол, что, подвернись в данную минуту сам черт, он, не раздумывая, ухватил бы его за рога.

Он тискал жесткими пальцами мешок и ружье до боли, как если бы под руками была не деревянная шейка приклада, а горло Алексея, которого он сейчас бешено ненавидел. А выворотни что? За многие годы промысла он привык к причудам тайги, к этим ее перевоплощениям, она его не пугала ни днем, ни ночью, и если он торопился, так только потому, что хотел до наступления полной темноты успеть поставить палатку. Иначе заночуешь под открытым небом и придется всю ночь гнущься от сырости и холода.

Балаган, к которому он вскоре вышел по едва приметной тропке, был даже не балаганом, а просто небольшим навесом из старого корья. Однако и навес хорош на первый случай, под ним лежало тоже корье, хвоя, а сухой квадратик земли не пророс буйными сырыми папоротниками.

Вечерняя влага пала на кусты, травы, и все, за что ни возмись, было уже волглое от росы.

Павел Тимофеевич наскоро привязывал палатку к кольям навеса — дождя не предвиделось, и можно было ее не натягивать, — влез под нее сам и втащил мешок.

На ощупь отыскав огарок свечи, он зажег свет и

стал переодеваться в сухое. За тонкой бязевой стенкой нудно звенели комары, атакуя освещенную палатку.

Павел Тимофеевич вспомнил, что в лодке осталась пила, — он схватил первое, что попало под руку, в то время он не сознавал сам, что делает, и теперь досадовал, зачем ее оставил. «Не пропала бы. Ведь любой инструмент привыкает к определенным рукам, к хозяину, и человек тоже привыкает к вещи. Ладно, передадут старухе или ребятам. Не может быть, чтобы бросили», — решил он и успокоился уже окончательно.

Комариный звон вплетался в чуткую таежную тишину, как привычное тиканье часов в тишину дома, когда слышишь и в то же время не замечаешь этих звуков. В этой тишине с реки донеслись какие-то всплески. Они не походили на шлепанье изюбриных копыт, когда зверь переходит с берега на берег, не чередовались в такой последовательности, были значительно тише.

Павел Тимофеевич прислушался: «Выдра!» В тихие летние ночи она иногда любит побаловаться, поплескаться на мелководье, да и время ее кормешки как раз подходило: ночь только-только переборола вечер и сгоняла с небес последние отблески света, застилая их, небеса, черным бархагом тьмы.

«Надо сказать ребятам. А не то сам соберусь, поймаю, — решил он. — Выследить, где она тут обосновалась; наверняка у ключа выше переката. Самое место — глыбко, тихо, а с ключа осенью гольян, хариус подваливают. Схватит речку ледком — поставит капканы, и все».

Выдра всегда старается держаться хоть мелкой, но воды. Когда речку закует ледком и вода на перекатах едва прикрывает гальку, ключ перегораживают камешками или плавинами, оставляя узкий проход — проплыв. Тут, на глубине в десять-пятнадцать сантиметров и ставят капкан.

Павел Тимофеевич сам не раз ловил выдр таким способом. Мех у выдры «выходной» почти круглый год, но особенно хорош в начале зимы. Ради такой добычи не жаль потерять недельку. Тем более, что между делом заодно можно набить куля два-три орехов. Урожай на них неплохой...

Он лежал, курил трубку, и мысли его текли нетороп-

ливо, без видимого порядка, как сама жизнь, если только смотреть на нее, не задумываясь.

— С-са-бака! — внезапно выдохнул он. — Какая все-таки собака! — укорил он Алексея.

Как полос, ударившись о скалы или лесную глушь, возвращается к хозяину отголосками эха, так и его злость, перекипев, нежданно вернулась к нему этой фразой и замерла, чтобы больше его не беспокоить. Он уже успел отдалиться от происшедшего, не думал о нем, в душе угасла злоба, сменившись презрением, досадой на самого себя, что так неосторожно, необдуманно уделался в дерьмо, когда с первого шага, с первого слова Алексея понял, что имеет дело не с человеком, а с дрянью.

— Хвостом вертеть ты умеешь, — выговаривал он Алексею. — Когда тебе нужно было — вьюном крутился, а теперь, значит, «заберите у этого дурака палку!» Ишь, востер на язык, собака.

Эхо угасло, чтобы больше не возвращаться. Лесная чуткая тишина повисла над рекой, над всей долиной Канихезы, над старым навесом из корья, и звезды шутливо перемаргивались в черной вышине, словно трунили над мелкими человеческими страстями, которые ровным счетом ничего не значат, но которым почему-то так много значения придают люди.

Белый туман, растекаясь, затопил речную долину. Сначала деревья стояли в нем по пояс, потом погрузились глубже, поднимая к небу темные руки-ветви, и наконец утонули с головой. Земля отходила ко сну и укрывалась потеплее.

Он проснулся среди ночи. Проснулся не потому, что продрог, а от тупой сердечной боли. Она цепко схватила его за сердце и давила, не давая повернуться, вздохнуть, давила не особенно сильно, но настойчиво, и это пугало.

Павел Тимофеевич чувствовал, как холодная липкая испарина выступает на лбу, но боялся даже вытереться, чтобы не сделать какого-нибудь лишнего, рокового движения.

Один в тайге. Никогда еще болезнь не застигала его наедине. Что это — от переутомления или переволновался? Припомнилось, как старуха отговаривала его от

этой поездки: «Люди чужие, изнервничаетесь...» Так и получилось. Зря не послушался! Зря.

Вскоре боль немного отпустила. Он понял это по тому, что стало легче дышать. Но испуг, охвативший его в первую минуту, оставался. Плохо, очень плохо, когда человек вдруг начинает замечать, что у него есть сердце, печень, почки. Значит, что-то уже нарушилось.

Словно бы два человека вели разговор, а он, третий, к ним прислушивался, настороженный, готовый к тому, что вот-вот чья-то рука зажмет ему сердце, и тогда не будет ни этих разговоров, ни завтрашнего дня.

Да, смерть. Вообще-то он давно знаком с ней издали. Она не раз проходила, касаясь его, знал он и то, что когда-то она неминуемо придет к нему, но в данную минуту не мог примириться: «Нет, нет, только не сейчас! Не в тайге же!»

От этой мысли он снова взволновался, и сердце забухало гулко, тревожно. Павел Тимофеевич прислушался, радуясь, что оно еще стучит. Стучит!

Вот так же неровно, гулко оно стучало всякий раз, как подходило время вылезать из окопа, а красные ракеты почему-то все не повисали в небе. И оно стучало: скорей, скорей! Стучало не потому, что ему не терпелось из окопа под пули и осколки. Скорей, чтобы не ждать, потому что ожидание хуже самой смерти и не давало дышать. Потом, поднявшись, он забывал обо всем: видел перед собой лишь окоп, до которого надо во что бы то ни стало добежать, дорваться. Маленький, невзрачный такой бугорок, за которым таился враг, он разрастался, заслонял собой весь мир, так что ни обойти его, ни объехать, и путь лишь один — через него, иначе не жить.

А жить Павел Тимофеевич всегда любил и совершенно не понимал тех, кто жаловался, что жизнь им прискучила, пропала зря из-за каких-то неудач, или еще хуже — добровольно уходил из жизни. В атаке он уже не слышал ни сердца, ни хлокотания пулеметов, ни шипения и свиста снарядов.

Как давно все это было, а память все сохранила, и вот, чуть не двадцать лет спустя, видится, как вспухают черносизые клубки разрывов, помнится, как саднит в горле от сгоревшей взрывчатки, как забивает рот, ноздри встающая перед глазами дыбом земля... Из глубоких

темных провалов он всякий раз возвращался, подолгу и первое, что всегда ощущал, был сладковатый, вызывающий тошноту запах хлороформа, сначала слабый, ненадежный, как тоненький лучик света сквозь дырочку, который ничего не стоит перекрыть. Запах тревожил, не давал погружаться в глубину, тащил, как на резинке, из забытья. Появлялись звуки, другие запахи, тревога пробуждения, словно он возвращался на свет заново. Это всегда было страшно, потому что не знал, какой возвращается: а вдруг без рук или без ног? Потом невесомое и чужое тело заполнялось болью, оживало...

Ощущения эти свежи, словно все это происходило вчера, хотя память упустила — он это знал — массу подробностей и цепко держала только основное.

Спал он в эту ночь плохо: то и дело просыпался от щемящей боли в груди, прислушивался, как неровно, с перебоями работает сердце, но уже не пугался.

В конце концов чему быть, того не миновать. Хорошо ли, плохо ли, а прожил шестьдесят три года — немалый срок. Жизнь была к нему неласкова, и если бы представилась возможность прожить ее снова, пройти все пройденное, он бы еще подумал — стоит ли? Правда, были молодость, сила, здоровье, бывали отрадные часы, но они столь же скупо разбросаны по суровому общему фону жизни, как женьшень в этих темных дебрях.

Если что и остается сделать, так только научиться спокойно умереть, когда косая все же подойдет вплотную. Жалеть нечего. Дети выросли и отошли, — он не винит их, так, видимо, и должно быть, — у них свои заботы и свои радости. Еще с заботами идут к отцу-матери, а радости найдут с кем разделить. Странно устроен человек: живет, живет, а приходит время, и все свои тревоги, все свое достояние, все плоды многолетнего труда — все приходится покидать, уходя. И как бы ни был предусмотрителен, не запасешься ничем. Богат ли, беден, видный ли, безвестный — конец пути всех равняет.

Так размышлял Павел Тимофеевич, стараясь настроить себя на возможный плохой исход, а где-то подспудно билась другая мысль: врешь, врешь, никого смерть не равняет, ничего не прощает, и если есть что доброе за душой, если жил не только ради своего сытого брюха,

так и умирать легче. Врешь, вре-е-шь, старый! Или не посмотрелся на своем веку, как умирали люди, не знаешь? Если кто жил подло, так ему и напутствия другого не было, как «собаке — собачья смерть!». Знал он и другое: никогда человеку не примириться со смертью, с возможным концом.

Чувствуя, как холодеют порой руки и ноги, Павел Тимофеевич с тоской думал: «Таблетки бы сейчас от сердца одну-две. Или капли. Эх...»

Когда боль отпускала, усталость брала свое, и он засыпал, погружаясь в спасительный сон, как в воду.

Утром Павел Тимофеевич долго не вставал, лежал, думал и не хотел сознаться, что все это время ждал жужжания рульмотора, ждал голоса Федора Михайловича. Вчера, он это признавал, упрашивать его было бесполезно, он ни за что не поехал бы с ними, а сегодня совсем другой разговор. Неужели не приедут? Ведь заночевали неподалеку, где-то возле залома.

Солнце поднялось над лесом, когда Павел Тимофеевич решился вылезть из палатки. «Значит, не приехали, — с горечью подумал он, и обида вновь шевельнулась в душе. — Конечно, зачем я им теперь?»

Голубое прозрачное небо с рыхлыми клубами тающего тумана сияло чистотой и было глубоко и покойно. Игольчато и всякий раз неожиданно посверкивали росные капли, торопко вспыхивали то огнисто-красными, то рубиновыми, то остро-синими брызгами огня на широких перистых листьях папоротника.

Павел Тимофеевич был полон ожидания болей и поэтому двигался не спеша, словно держал в руках чашу с молоком и боялся ее расплескать. Над старым кострищем были вбиты рогульки: он попробовал их ногой — крепки! — и принялся налаживать огонек. Потом взял котелок и спустился к реке. Чуть правее виднелся зайленный косой срез берега. Он вспомнил, что оттуда ночью доносился плеск, и решил взглянуть. Так и есть, берег испещрен крупными и мелкими следами выдры и выдрят. Следы были свежие, потому что накладывались на более ранние — вороньи трехпальчатые оттиски. Местами следы были смазаны, и он догадался, что выдрята шалили, возились. «Дети у всех дети, — отметил про

себя Павел Тимофеевич, зачерпнул воды и вернулся к палатке. — К осени хороши будут».

Сыновья должны подъехать не раньше, как к вечеру, и торопиться ему было совершенно некуда. Он долго пил чай, приправленный для аромата лианой лимонника, которого здесь, на незатопляемом берегу, оказалось пропасть — целые заросли. Третью кружку осилить не смог. Под ногами среди всякой лесной ветоши сновали большие черные муравьи, подбирившие крохи от его завтрака, и он, прежде чем выплеснуть кипяток, осмотрелся — не ошпарить бы какого трудягу.

Солнце начало припекать и понемногу сгонять росу, и вокруг палатки басовито загудели первые слепни. Надо чем-то заняться, иначе день покажется длинным, как вечность.

Поодаль от табора островком поднималась небольшая сопочка. Среди кудрявившегося на ней разнолесья высились темные кудлатые кедры. Крутобокая, она стояла среди мари пупырем и была настолько мала, что лесозаготовители не пожелали прокладывать к ней дорогу. Как говорится, овчинка выделки не стоит.

Павел Тимофеевич не раз проезжал мимо, а вот подниматься на нее как-то не приходилось: не было дела, ради которого стоило бы лезть на нее. Орехи? Так их там пустяки. Он постоял, соображая, идти или не идти. Схожу — все равно делать нечего.

Вскоре налегке, лишь с топором и ружьем, он шел к сопочке. Над долиной Канихезы тянул свежий веселый юго-западный ветерок, верный признак устойчивой хорошей погоды. Такой ветерок в сенокосную пору — отрада. Любил Павел Тимофеевич сморгнуть, как гоняет он зеленые луговые волны, как колышет, пригибает высокую, по грудь, траву, словно бы клонит ее под острое жало литовки. А ты только косой — вжик! вжик! — да замах пошире, со всего плеча, да ногу потверже, а левую руку к себе крепче, чтобы коса носком не зарывалась, а пяткой, пяткой выбривала траву под самый корень. Под такой ветерок хоть косить, хоть сгребать — одно удовольствие.

Нынешняя молодежь на любое дело требует механизацию, а ведь и в ручном труде есть радость, умей только понять работу, почувствовать...

Редко выпадают деньки хорошие в августовскую по-

ру, но уж если выдался — дыши полной грудью, не надыхайся. Шумят, шумят над головой березки, аж гуд идет по тайге. «Ай, веселенький денек! — радуется Павел Тимофеевич. — Ни мошки, ни комара, всех придавило к земле».

Свежий ветерок прогнал застойную муть испарений, днями копившуюся над таежными просторами, небо стало звонкое, синее, очертания сопок отчетливыми. Белые облачка плывут ровненькие, будто галушечки в молоке, одинаковые: не дает им ветер разрастаться ввысь, гроздиться в белые башни, быстренько гонит их над сопками дальше, дальше, к самому морю. И они бегут, чуть наклонившись вперед, как дружная ротная цепь, только что поднявшаяся в атаку, пока не хлестнула по ней пулеметная очередь.

Прибрежный лес сменился белоствольным ласковым и прозрачным березняком с куртинками таволги по сырым местам. Теперь сопочка все время призывно маячила впереди за узкой полоской мари.

С первых же шагов от подножия перед Павлом Тимофеевичем оказалась стена кустарников, густо перевитых лианами и различными вьющимися травами. Ни перешагнуть, ни прорваться. Среди раскидистых лип и кленов подымались могучие кедры и лиственницы. Деревья сильно парусили под ветром, и шум леса переходил временами в раскатистый гул. Но странно, что на душе у Павла Тимофеевича, чем дальше, тем становилось покойнее, словно бы этот гул выметал все лишнее, что ночью передумалось, оставляя лишь безмерную доброту ко всему живому. Если б не сердце, нет-нет напоминавшее о себе короткими колющими болями, ничего б лучшего не желал Павел Тимофеевич, как бродить по тайге и делать пусть незаметное, маленькое, но доброе дело. Казалось, что доброта эта с каждой минутой ширится в нем, растет, приподымает его самого выше, делает его более сильным. Какое это хорошее чувство. Ведь против любой силы всегда найдется другая, бóльшая сила, но нет силы, чтобы устояла перед добрыми помыслами человека.

Даже на Алексея он сейчас не таил ни обиды, ни зла. Найдись вот тут несколько корней, и он поделился бы с ним, только сказал бы при этом: «Бери, но помни,

что надо всегда оставаться человеком». Хотя таких, как Алексей, добрым словом не проймешь, все равно, пусть бы брал и уваливал. Да, такой возьмет, а за глаза тебя же еще и дураком обзовет. И все равно...

Павел Тимофеевич окинул взглядом ближние деревья. Глаз задержался на красноватой коре лиственницы. Кора бугрилась наплывами, словно давным-давно ей были нанесены удары, но потом зарубцевались. Дерево почти двухметровой толщины поднималось на громадную высоту. Ветры обломили у него верхушку, но сбоку пробились отростки и потянулись к небу, образовав со временем новую вершину.

Не выпуская из зубов трубки, Павел Тимофеевич пробрался к лиственнице. Когда он стал рядом, то удивился: великанище, а не дерево! Такому самое малое лет триста. Наросты находились на высоте груди и походили на зарубки, сделанные поперек ствола.

«Что же это такое? — ломал он себе голову. — Случайные удары топором или знак?»

Будь это не на острове среди мари, а в более подходящем месте, возможно, ему пришло бы в голову связать эти знаки с давней деятельностью женьшеньщиков. Но тут? Однако привычка, выработанная годами промысла, — не оставлять без внимания следы, отыскивать причину, не отпускала его от этого дерева. Ведь неспроста выбрана именно эта лиственница. Значит, и десятки лет назад она была самым приметным деревом.

Знаки смотрели не к вершине сопочки, а в сторону, и если следовать им, то пришлось бы идти косогором, одолевая подъем наискосок. Павел Тимофеевич так и пошел, оглядываясь, чтобы не потерять дерево из виду. Снова знак, на этот раз на кедре. Теперь это обычная затеска, оставляемая за собой путниками, едва угадываемая под наплывами древесины. Он прикинул расстояние от лиственницы: шагов тридцать.

«Тридцать... А зарубок три. Так ведь это же «хао-шу-хуа» — азбука корневищников! Три поперечные зарубки — три десятка шагов. Как не пришло ему в голову сразу? Что если на этом пяточке женьшень? А почему бы и не быть, ведь никому и в голову не придет искать его на островке среди болот».

Павел Тимофеевич закрутился, забыл и про свою бо-

лезнь. Теперь он горел одним желанием — раскрыть тайну этих зарубок. Он затесал кедр с четырех сторон, чтобы не потерять его из виду, и стал кружить возле него. Новых знаков не было. Павел Тимофеевич притомился и, немного успокоился.

— Так дело не пойдет, — сказал он. — Надо искать как полагается. Сопочка невелика, обломаю.

Старательно прочесывая сопочку продольными маршрутами, как пахарь поле бороздами, ход от хода на десяток метров, он позабыл за этой работой про еду, про время. Корневщики — народ терпеливый, настойчивый. Без этих качеств какой может быть промысел? Женьшень так просто в руки не дается, потому и ценится. Поиски — это работа, тут особые надежды на удачу, азарт ни к чему.

Вот почему Павел Тимофеевич рассуждал не над тем, найдет ли он здесь корень или два, а более обыденно: «Надо. Надо обломать верхнюю половину сопочки. Тогда буду знать определенно, есть корень или нет...»

В прогалки между деревьями хорошо проглядывалась долина, сама Канихеза и даже ее открытые наиболее прямые плесы. Они поблескивали в затишных местах и густо синели там, где ветер прорывался в узкий речной коридор и ершил воду. Будто нитка стеклянных, редко нанизанных и крупно ограненных бус, брошенных по зеленому полю так, что одни отражали свет, другие его поглощали, смотрелась отсюда капризно извивающаяся Канихеза. Дальние пятнышки воды и вовсе терялись среди побелевших тальников.

Ветер обрывал на землю мелкие веточки с кедров и лиственниц, его порывы колыхали листву кустарников, и она блестела, играла отраженным светом перед глазами. Сопочка была открыта всем ветрам, и, наверное, гроза, пролетевшая над Канихезой недели три назад, та, что положила кедр через Салду, здесь тоже нашла себе жертву. Порыжелая, будто опаленная пожаром, ель лежала перед Павлом Тимофеевичем.

Он хотел ее обойти, но потом передумал: случается, что упавшие деревья скрывают под собой женьшень. Такое бывает. Он пошел вдоль дерева, приподымая палкой ветви и заглядывая под них. Прибитые к земле папоротники продолжали зеленеть. А вот и листья ланды-

ша. Только почему они тоже зеленые? Ведь в августе они буреют. Листья, какой-то стебель...

Павел Тимофеевич приподнял стебель палкой, и листья потянулись за ним. Да это же никакие не ландыши, а... Не веря своим глазам, он нырнул под ветку к самой земле. Под еловыми лапами лежал женьшень. Толстый стебель венчала розетка из пяти пятипальчатых листьев. «У-пи-е!» Это же корень, которому не меньше ста пятидесяти-двухсот лет! Руки у Павла Тимофеевича задрожали, спина покрылась потом. Вот это находка!

Он обалдело смотрел на этот прибитый корень и не знал, что делать. Кричать «панцуй!»? Какая удача! Корень наверняка замер бы, может, на десять, может, на пятнадцать лет, а то и совсем пропал бы для людей. Как хорошо, что его надоумило полезть на эту сопочку, искать.

Несколько крепких затяжек прояснили ему голову. Он посидел, потом вытащил из мешка топор и обрубил мешавшие ветки. Под ними открылась примятая трава, кустики. Рядом с крупным корнем «у-пи-е» лежали два четырехлистных помоложе — «сы-пи-е». Они росли на бугорке мягкой земли, словно на грядочке.

И тут Павла Тимофеевича осенило: «Плантация! Это же плантация корейцев. Вот куда занесли они ее, а я-то где все крутился».

Конечно же, они не такие дураки, чтобы высаживать столь крупный корень там, где шляются охотники, лесорубы. Вот и облюбовали эту сопочку. Как славно, что он их нашел. «Эх, мать честная, вот подфартило...» Корни хоть и сидели в мягкой земле, но повозиться все же пришлось. Пятилистный корень лежал в земле горизонтально. Корень был сильный, и длинные мочки прошивали землю на полметра и больше, расходясь веером. Надо было выкопать его, не оборвав этих нитей, чтобы корень не потерял цены. Чтобы удобнее было работать, Павел Тимофеевич опустил на колени. Сколько он провозился над одним растением, он не знал, — долго, потому что нестерпимо заняла поясница, давило грудь. Зато корень был таков, что окупал всю поездку.

С другими корнями он справился легче, но силы были на исходе. Павел Тимофеевич присел на поваленное дерево. Близился вечер, а он еще не обедал, и есть по-

чему-то не хотелось. Ветер немного стих, и плесы Канихезы оловянно поблескивали среди темной зелени. Пора подниматься и упаковывать корни. Павел Тимофеевич стал отыскивать взглядом кедринку, с которой можно снять кору на лубянку-конверт, и краем глаза вдруг заметил на одном из плесов лодку. Она проплыла по блестящей поверхности и скрылась на излучине.

«Лодка!» — вот что успел подумать Павел Тимофеевич. Времени, чтобы разглядеть ее толком, не осталось. Лишь одно дошло до него с полной ясностью, что это его лодка, на которой те двое спускаются вниз, и надо их перехватить. Все, что он пережил за последние дни, все неудачи возникли перед ним в этот миг: обсчет при дележе, пропажа лодки, продуктов, вероломство Алексея и даже ночь, в которую он так боялся за свое сердце. Гнев захлестнул его, как огонь захлестывает по весне сухую траву.

Нет! Прежде надо упаковать корни. А тем временем воры проскользнут мимо? Ни за что! Подлость должна быть наказана. Он еще не решил, что будет делать, когда увидит их на своей лодке. Ясно было одно: он должен успеть к табору раньше их, обязан укараулить, чтобы они не прошмыгнули мимо.

Руки Павла Тимофеевича тряслись, когда он пригоршнями сыпал в мешок землю, укладывал корни: на лубянку времени не оставалось. Через минуту он уже скатывался по косогору. Усталые ноги подкашивались и плохо ему повиновались. Он спотыкался о валежины не в силах перешагнуть через них, задыхался, сердце билось неровно, гулко. «Скорей, скорей!..» — стучало в висках, и он напрягал все силы. Ему казалось, что он бежит, так много старания он прилагал, а на самом деле неловко ковылял на непослушных одеревенелых ногах.

Он был уже в березняке, от которого рукой подать до табора, торопливо взвел курок ружья и тут споткнулся. Упал он сильно, со всего размаху.

Мысленно он стремился еще вперед и, одержимый справедливым гневом, жаждал встречи со своими обидчиками. Тело же бессильно никло к земле. Ему показалось, что он идет в атаку. Точно так же гулко стучало сердце всякий раз, как подходила пора подниматься из окопа. Только сейчас перед ним была подлость, и ее так

же не обойти, как тот окоп, который всегда стоял на его пути в атаках.

Он торопился, а ноги, руки отказывали, и сердце то забьется, то затихнет и разрастется так, что тесно ему в груди. Он не замечал, что жадно хватает посинелыми губами воздух, а надышаться не может, что пальцы его шарят по траве, и таковы, будто перед этим он перебирал зрелую голубику и не успел их отмыть. Веселые, шумящие листвою березы — он увидел их мельком, поворачиваясь на спину, лицом к небу, — стали опрокидываться на него, забивая ему дыхание, и он испугался, что на этот раз возвращения может и не быть. Но что он мог поделать? В такую минуту плохо в тайге одинокому. «Плохо», — подумал он. Оставалась маленькая надежда — вдруг все-таки кто есть поблизости. Нащупав шейку приклада, он из последних сил нажал на курок. Как и в давних атаках, рвануло что-то красно-черное, слепящее, рвануло со звоном, и он стал падать, падать...

Корневщики ночевали у залома. Поднялись утром в шесть. Завтракали молча. Федор Михайлович угрюмо сводил к переносью черные брови, глядел в огонь, о чем-то думал. Среди ельника, пихтарника было еще сумрачно и тихо, но утро занималось ясное, и легкий ветерок уже шевелил листву тальников на другой стороне реки.

Когда корневщики пошли перетаскивать лодку, Федор Михайлович остался у костра, словно его это не касалось. В тишине дробно рассыпались татакающие звуки — Алексей пробовал мотор. К костру подошел Шмаков:

— Ну что, грузимся?

— Давайте, грузитесь! — ответил Федор Михайлович, но сам не сдвинулся с места.

Шмаков молча пожал плечами, не понимая, какая муха укусила «старшинку», и подхватил на плечо свой мешок. Подошли остальные, разобрали свои вещи, табор опустел. Костер едва дымил, вокруг утоптаные травы, примятая подстилка. С лодки донесся крик Алексея:

— Ну что там, скоро?

— Пора отчаливать, — сказал Шмаков. — Ждут.

— Валите, — отозвался Федор Михайлович. — Я не поеду.

— Что так?

— А так... — и вдруг, будто взорвало его изнутри, Федор Михайлович раскричался: — Да с какими глазами я появлюсь к его старухе, случись что с ним? Шли ведь компанией! Вам, может, и все равно, а я людей повел!

— Так чего волноваться, — примирительно сказал Шмаков. — Надо было сразу сказать, давно бы смотались за ним на лодке. Я сейчас Алексею скажу. Один момент!

— Не надо! — остановил его Федор Михайлович. — Пусть катится ко всем чертям вместе со своей лодкой! — и заговорил более спокойно: — Поезжайте и вы. Встретите его ребят, пусть едут, не задерживаются. А я дождусь. Все равно, народу много, лодка перегружена. Быстрее доберетесь. Захотите, там в Канихезе дождетесь меня, а нет — езжайте домой одни. А я так не привык.

— Что ж, если решили, то добро. С его ребятами и вернетесь, я им скажу...

Все сидели уже в лодке, ждали Федора Михайловича.

— Долго он еще там будет канителиться? — нетерпеливо спросил Алексей, увидев, что Шмаков возвращается один.

— Он остается. Поехали! — сказал Шмаков. — Без Павла Тимофеевича возвращаться не хочет.

— Мудрит старик, — хмуро заметил Миша. — Ну, этот — старый секач, в тайге он как дома.

— Погоди, как так? — не сразу нашелся Иван. — Один там, другой здесь. Нет, это не дело!

— Хочешь, оставайся и ты, — сказал Шмаков. — Вдвоем веселее будет.

— И останусь! — схватив свой мешок, Иван выскочил из лодки на берег.

— Чего там торговаться! Хотят, пусть посидят, позагорают, — ворчливо сказал Алексей. Оттолкнувшись веслом от берега, он дернул заводной шнур.

Приходу Ивана Федор Михайлович не удивился, не обрадовался.

— Ехали бы. Время только потеряете.

— Ничего, не горит. Днем позже, днем раньше вер-

нусь — одинаково... Будем ждать его ребят или двинем берегом? Тут недалеко.

— Чего ждать? Маленько ветерок росу обобьет — пойдем. Там и дождемся. Вместе.

Солнце поднялось уже высоко, когда они по залому перебрались на другую сторону Канихезы. Бодро пошумливал ветер в лесу, ершил воду. Федор Михайлович шел впереди, лавируя между деревьями и зарослями таволжника, порой совсем скрываясь в высоком кустарнике и травах. По расчетам путников, до балагана было километра четыре, но шли они туда часа три и порядком намучились. Павла Тимофеевича на месте не оказалось, но вещи лежали под палаткой, значит — далеко не ушел.

— Умотался куда-то, — ворчливо сказал Федор Михайлович. — Чаю вскипятить, что ли. Все равно делать нечего.

— Я вскипячу, — поднялся Иван. — Сидите.

— Что толку сидеть? Пока костер разводишь, я пройду, может сушинку где пригляжу. Возможно, ночевать будем, дрова пригодятся.

Вернулся Федор Михайлович минут через двадцать.

— Видать, на сопочку подался наш Павел Тимофеевич. Туда след потянул. Тут сразу за березняком марь, след хорошо заметно.

Они отдохнули, пообедали, успели немного вздремнуть. Часов в шесть до них донеслось журчание рульмотора. Снизу по реке кто-то поднимался на лодке. Подъехали сыновья Павла Тимофеевича — Вася и старший — Петр.

— А где отец? — сразу спросили они.

— Сами ждем. Ушел с утра, должен вот-вот подойти. Как там, наших встретили?

— Давно. К поселку, наверное, подходят. Вниз быстро.

Ребята пили чай — с дороги притомились, когда неподалеку раздался выстрел.

— Вот и хозяин жалуется, — сказал Федор Михайлович. — В кого это он мог палить, в рябчика, что ли?

Они посидели минут десять, прислушиваясь, но Павел Тимофеевич не показывался.

— Долго что-то нету. Может, что случилось? — забеспокоился Вася.

— Вы говорили, след есть, — поднялся Иван. — Не пройти ли навстречу!

Федор Михайлович уверенно повел за собой остальных. Они наткнулись на Павла Тимофеевича сразу, как только вошли в березняк.

— Батя! — вскрикнул Вася, бросаясь к отцу. — Что с тобой?

Павел Тимофеевич лежал без признаков жизни. Федор Михайлович обошел вокруг, пытаясь по следам разгадать, что здесь произошло. Иван присел на колени, взял руку Павла Тимофеевича, но пульс не прощупывался: не было навыка в таких делах. Тогда он легонько надавил пальцами на сонные артерии и тут еле ощутимо, редкими толчками, отозвался ток крови. Иван приподнял ему голову, уложил поудобнее и стал осторожно массировать руки, левую сторону груди. Землистая синева постепенно сходила с лица Павла Тимофеевича, он вздохнул. Потом открыл глаза и какое-то время непонимающе глядел перед собой.

— Молчите! — приказал Иван. — Говорить будем потом. Все в порядке.

Сыновья хотели перенести отца на табор, но Иван не позволил: рано, нужен абсолютный покой. Никто ему не возразил. Федор Михайлович вздохнул: как душа моя чуяла... Зная, что после сердечного приступа ходить больному нельзя, Иван отправил молодых на табор, чтобы они там сделали носилки. Федор Михайлович ушел с ними.

Иван сидел подле больного, обмахивая его веткой от комаров. Вдруг Павел Тимофеевич беспокойно закосил глазами. Иван догадался, подвинул ему под руку мешок и ружье. Ощупав пальцами завязку, старик успокоился и поманил к себе Ивана.

— Нашел я ее все-таки, — шепнул он. — Плантацию...

— Потом расскажете. Лежите!

Павел Тимофеевич устало закрыл глаза.

Две недели, как Иван вернулся с корневки. Соскучившись по семье, он целыми днями не покидал квартиры. Отдых отдыхом, но и без людей скучно. Вот почему, когда пришел конец отпуска, он явился на работу с ра-

достью. За все эти дни он ничего не слышал о своих компаньонах. Как сошли с поезда, так и с концом. Расстались без сожаления, без изъявления дружеских чувств.

Однажды, идя с работы, он встретил приятеля.

Броско, ярко цвели газоны красно-желтыми головками астр, гвоздик, полыхали языками каннов.

— Слышал, слышал о твоих успехах! — начал приятель, крепко тиская руку Ивану. — Раньше всех целую семью нашел, опытного корневщика обскакал.

— Что толку? Они меня потом вдвое обошли!

— Ничего. На первый раз и это неплохо! Урок! Да, — внезапно спохватился он, — читал? Вот это находка! Не то что у вас!

Он развернул краевую газету. В короткой информации говорилось:

«Иман. 5 сентября. (Собств. кор.) Начинают возвращаться таежные следопыты. На днях отделением заготконторы принята первая партия женьшеня. Среди корней один небывалой величины — двести семьдесят граммов. Сдали эту находку сыновья опытного корневщика Павла Тимофеевича Будкова. Наш корреспондент связался по телефону с промысловиком, который в связи с болезнью находится в поселковой больнице. Павел Тимофеевич выразил надежду, что это не последняя его находка. Пусть, сказал он, найденный им корень пойдет на лекарство для фронтовиков, потерявших здоровье в годы Великой Отечественной войны.

По свидетельству специалистов, находка представляет большой интерес, так как подобной величины корни за последнее десятилетие не встречались. Заготконтора приняла корень первым сортом».

Иван не мог сдержать улыбки, читая это сообщение. Старик правильно рассудил. Фронтовое братство не на год-два, а на всю жизнь. Хорошо все-таки, что они вернулись за ним. Сыновья могли не найти его, и тогда этот корень стал бы последним его корнем. И все-таки как нелепо получается. Почему не хватило мужества отказать дрянному человеку? Нет, потащил Алексея в тайгу, хотя знал, кого ведет. Да, если б не кража лодки, если бы хамство Алексея сразу получило от них дружный отпор, если бы в каждом из них было побольше

внимания, чуткости к тому, кто рядом, глядишь, все могло быть иначе.

— Ты что, знал его?

— Знаком. Корневали вместе. На обратном пути он было отделился, и этот корень чуть не стал для него последним...

— М-да. Вот как даже. Чего не бывает. Значит, не судьба еще помирать. Ну что ж, выходит, не зря съездил, посмотрел, каковы наши дальневосточные дебри.

— Посмотрел. Дебри в душе человеческой...



**Клипель В. И.**

**К 49 Дебри. Хабаровское кн. изд., 1974.  
144 с. с илл. 100 000 экз. 24 коп.**

«Дебри» — повесть о приключениях искателей женьшеня. Наряду с честными промысловиками — Павлом Тимофеевичем и Федором Михайловичем — идут «корневать» и люди случайные, среди которых находятся и такие, что ищут лишь легкой наживы. Автор хорошо знает Дальний Восток, поэтому ему удалось картины приамурских дебрей. В повести звучит призыв бережно относиться к богатствам природы.

**7—6—3**  
**38—74**

**ДВ Р2**

**Владимир Иванович  
Клипель**

**Д Е Б Р И**

Хабаровское книжное издательство  
Государственного Комитета Совета  
Министров РСФСР по делам из-  
дательств, полиграфии и книжной  
торговли, Хабаровск, ул. Серыше-  
ва, 31.

Редактор М. О. Матвеева  
Художник Г. А. Палкин  
Художественный редактор  
А. В. Колесов

Сдано в набор 1/III-74 г. Подписано к печати 26/III-74 г. Бумага 84×108/32, типографская № 3. Печ. л. 4,5 (усл. 7,56), авт. л. 7,21, уч.-изд. л. 7,68. Тираж 100 000 (1—30 000). Заказ № 1493. Цена 24 коп.

Книга набрана и отпечатана в типографии № 1 Амурского областного управления издательств, полиграфии и книжной торговли, Благовещенск, ул. Калинина, 10.

24 коп.

